

Владислав ЕГОРОВ

БУКЕТ КРАСНЫХ РОЗ

рассказы о любви

Москва
Издательство «БПП»
2009

ЕГОРОВ
Владислав Викторович

БУКЕТ КРАСНЫХ РОЗ

МОСКВА, Издательство «БПП», 2009. - с 280.

Простые житейские истории, окрашенные светлым и прекрасным чувством любви, рассказаны автором порой с грустью, а порой с лёгкой иронией.
Двенадцать любовных историй, и каждая непохожа на другую.

© Издательство «БПП», 2009

БАБОЧКА

Стыдно в этом признаваться, но я не помню, как звали мою первую учительницу. Впрочем, не помню и никого из ребят, с кем ходил в школу в приамурском поселке Моховая Падь. А вот девочку, которая сидела впереди, помню. Потому что был в нее влюблен.

Но влюбился я в Лиду Гречанкову не сразу. И, может, не влюбился бы вовсе, не будь на вооружении у нашей учительницы одного воспитательного приема, боюсь, уже в те годы отвергнутого педагогической наукой. После каждой четверти наша учительница перетасовывала класс, рассаживая нас согласно полученным отметкам. Пожалуй, единственным, кого не затронули эти миграционные процессы, был я. Как первого сентября сорок четвертого года посадили меня за вторую парту в первом ряду от окна, так за ней же встретил я и первое апреля сорок пятого — начало четвертой четверти, день, когда я вдруг обнаружил, что девочка, которая теперь сидит впереди, самая красивая в классе.

Я и сейчас отчетливо вижу ее — тоненькая, светло-волосая, большеглазая и почему-то всегда бледная. Даже после переменок, проходивших в сплошной беготне, румянец не трогал ее лица. И еще стоит перед глазами голубая жилка на худенькой шее. Словом, Лида Гречанкова представлялась мне слабым и хрупким существом, непременно нуждающимся в моей защите.

К сожалению, очень скоро появилось для этого немало поводов, и в основном давал их ее сосед по парте, на редкость конопатый и драчливый мальчишка. Он наступал ей на ногу, когда она отвечала с места, толкал

локтем в бок, когда она старательно выводила прописи, а как только раздавался звонок на перемену, считал своим долгом дернуть ее за косички. Надо сказать, что в нашем классе далеко не у всех девочек были косички, — большинство мам той военной поры превыше соображений красоты ставили требования санитарии и гигиены и стригли наголо не только сыновей, но и дочек, да хорошо еще «под машинку», а то чаще ножницами — «лесенкой». В утешение же нам приводился единственный довод: «волосы будут лучше расти».

Хотя благородный гнев и захлестывал меня всякий раз, как Лида получала толчок или пинок от своего соседа, я сдерживал его, ибо эти действия по отношению к девчонкам считались в нашем классе общепринятой нормой поведения, и выступи кто против них, то ему тут же бы приклеили обидную кличку «девчатник». Но когда конопатый злодей ни с того ни с сего взял чернильницу-непроливайку и в один момент доказал, что она не отвечает своему названию, вытряхнув на аккуратную Лидину тетрадку целую гроздь жирных фиолетовых клякс, я не стерпел и изо всей силы стукнул его кулаком по спине. Конечно же, после уроков пришлось драться с Лидиным обидчиком, и победителем в том поединке стал не я. Мой противник был потяжелее и посильнее меня, так что и в последующих стычках с ним я, как правило, оказывался побежденным.

Но мое мужество заметили. Лида пригласила меня к себе домой, правда, не одного, а еще с четырьмя или пятью девочками и мальчиками, чтобы показать нам свое сокровище — перевязанную розовой ленточкой толстую пачку открыток. Несмотря на мое чувство к Ли-

де, открытки не произвели на меня впечатления. На большей части из них были цветы, или одиночные, или в букетах, на меньшей — дома, с колоннами или со львами у входа. Только одна открытка представляла интерес — фотография памятника: какой-то человек скачет на лошади, вытянув вперед руку. Лида оказалась еще и доброй девочкой. Своим подружкам она подарила по открытке с домами, а мне — с изображением всадника. Я пририсовал к его руке саблю, и получилось очень красиво.

А потом и я позвал Лиду к себе, чтобы и она познакомилась с предметом моей гордости — собственноручно выполненными рисунками, которые неизменно вызывали восторг и зависть у моих друзей. Я лучше всех в классе рисовал сражения наших с немцами. Это были многофигурные композиции. В небе летали краснозвездные самолеты и строчили из пулеметов, на земле извергали огонь краснозвездные танки и пушки. Впереди и сзади них бежали бойцы с винтовками, саблями и красными знаменами. Для фрицев у меня всегда оставалось мало места, и поэтому их солдаты и боевая техника размерами были вдвое меньше наших и к тому же все до единого уже выведены из строя, о чем свидетельствовали густые клубы дыма, окутывавшие вражеские самолеты, танки и пушки, и горизонтальное положение самих фашистов. Я тоже не пожадничал и подарил Лиде один из лучших своих рисунков.

Когда на сопках, вплотную подступавших к нашему поселку, всюду начал таять снег, я уговорил Лиду пойти вдвоем за сладкими желудями. Опытным путем мы с ребятами установили, что перезимовавшие желуди бы-

вают ничуть не хуже конфет. Только надо искать такие, которые уже пообсохли на солнце, слегка потрескались и приобрели бурый цвет, а вот желуди с зеленой кожурой были твердые и невкусные. Кажется, Лида оценила это лакомство, но в настоящий восторг ее привели подснежники — бледно-синие и бледно-фиолетовые мохнатые колокольчики на коротеньких мохнатых ножках. И я с радостью рвал для нее эти цветки, растущие действительно прямо из ноздреватого серого весеннего снега.

Наверное, у нас и еще были свидания, но они как-то стерлись из памяти, и следующее воспоминание относится уже к летним каникулам, когда я попытался научить Лиду ловить руками вьюнов в речке Переплюйке. Не уверен, что это официальное название, но именно так все жители Моховой Пади именовали ручей, протекавший за околицей поселка. Вообще-то ловить вьюнов дело нехитрое. Надо просто зайти на самое мелкое место, где вода не доходит даже до щиколоток, и терпеливо ждать, когда вьюн начнет преодолевать этот пережат. Тут только не зевай, хватай его за голову и выбрасывай подальше на берег. Если же промахнешься, уцепишь за туловище или хвост, он обязательно выскользнет из рук. Но Лида очень боялась вьюнов, они казались ей похожими на маленьких змей, на которых и в самом деле были похожи.

Однако занятия наши рыбной ловлей прервались совсем не потому, что каждый раз при виде пойманного мной вьюна Лида от страха поднимала визг. Нет, причина была куда поважнее. В августе началась война с Японией, и стало не до рыбалки и не до любви. Война

заполнила собой нашу мальчишескую жизнь всю без остатка. С утра мы залезали на самую высокую сопку и часами смотрели в сторону Амура, ожидая, когда же снова будут стрелять «катюши». Их залпы мы видели в день объявления войны и надеялись, что они обязательно повторятся. А еще мы ожидали, что нас прилетят бомбить японские самолеты, и поэтому целую неделю рыли возле своего наблюдательного пункта здоровенную яму. Сверху накрыли ее досками, утащенными без спроса из дому, и замаскировали ветками, так что получился самый настоящий блиндаж, в котором, мы не сомневались, запросто можно будет пересидеть любую бомбежку.

Но самолет над нашим поселком появился лишь однажды, и летел он так высоко, что не было никакой возможности разглядеть, звезды или кружки у него на крыльях. А славные «катюши» уже на второй день войны стреляли где-то далеко-далеко, так стремительно драпали японские самураи. И хотя мы жили совсем рядом с границей, ни одного сражения так и не увидели. Обидно, конечно, только мы даже не успели расстроиться как следует, потому что снова пришла Победа. Первая, когда мы победили немцев, запомнилась тем, что взрослые плакали. И не только женщины, но даже военные с орденами на груди. Эта вторая Победа была веселой. Офицеры и солдаты играли на красивых аккордеонах и губных гармошках, все пели и плясали, а вечером был салют из пушек и в небо взлетели разноцветные сигнальные ракеты.

А еще эта Победа оказалась сладкой. В самом прямом смысле. Разгромив проклятых самураев, стали воз-

вращаться наши отцы — на побывку, в отпуск, а то и на-совсем. И все они обязательно привозили конфеты, очень много конфет в красивых ярких обертках. Кроме того, нас щедро снабжали ими и совсем незнакомые танкисты, которые сразу же после окончания войны стали приезжать в наш поселок на своих грозных боевых машинах. Все-таки нам здорово повезло, что командование выбрало Моховую Падь базой именно для этого рода войск, потому что почти все мы мечтали тогда стать танкистами. Еще бы, ведь такой формы — черных шлемов, черных комбинезонов и больших черных перчаток — не имели даже кавалеристы. Танкисты были очень добрые дяди. Они не только разрешали нам потрогать гусеницы и постучать по броне, но и помогали забраться на сам танк, а некоторым ребятам, в том числе и мне, посчастливилось посидеть немножко на месте механика-водителя и подержаться за рычаги управления. А то, что у танкистов карманы были набиты конфетами, думаю я сейчас, объяснялось просто: это в наших глазах они выглядели взрослыми, а по сути, ведь были те же мальчишки, не успевшие из-за войны вдоволь наесться сладкого.

Где-то в конце сентября на день или на два заскочил домой отец. Конечно же, и он привез нам с сестрой конфет, но я моментально забыл о них, как только отец вручил мне настоящую трофейную саблю в зеленых ножнах и штык из вороненой стали с деревянной рукояткой: хитрые японцы могли прикреплять его к винтовке, а могли действовать им как кинжалом. Подарки, полученные сестрой, не шли ни в какое сравнение с моими. Это были чисто девчоночьи вещи: цветастое шелко-

вое платье, бусы и несколько брошек, из которых легкую зависть вызвала лишь божья коровка, сделанная из блестящих камешков.

Единственное обстоятельство несколько омрачало радость: ни саблю, ни штык нельзя было принести в школу, чтоб похвастаться перед классом. Учительница наверняка бы высмотрела их, и тогда — прощай, оружие, одну саблю она уже зажилила. Поэтому мне отводилась роль простого наблюдателя и советчика, когда во время переменок в дальнем углу школьного двора, где нас не мог видеть любопытный учительский глаз, ребята вытаскивали из карманов и полевых командирских сумок, заменявших нам портфели, свои богатства и начинали горячо обсуждать, что ценнее: бинокль или пустой автоматный диск, пистолетная обойма с маленькими патрончиками или десять больших винтовочных, компас или ручная граната «лимонка», правда, без взрывателя. Ну, а после уроков мы шли к своим любимым танкистам и снова и снова просили их подтвердить, что на войне танк лучше пушки, самолета и линкора.

И вот однажды, возвращаясь от танкистов, я увидел, как к бараку, где жила Лида, подъехал грузовик. Из кабины вылез офицер в длинной шинели. Мне было любопытно, к кому он приехал, и я замедлил шаг. Офицер вошел в барак, а через минуту оттуда выскочила Лида, подбежала к машине и сказала что-то шоферу. Потом она увидела меня и радостно закричала:

— А за нами папа приехал! А мы сейчас уезжаем, уезжаем!

Танки, пушки, самолеты, линкоры в одно мгновение вылетели из моей головы, и их место заняла худенькая девочка, которая, я видел это снова, была самой красивой па земле. Мне сделалось нестерпимо грустно, я спросил, насовсем ли они уезжают, и Лида, улыбаясь, ответила:

— Насовсем! Насовсем! Папу демобилизовали! — Она с удовольствием произнесла это трудное новое слово.

Вот и все. Больше я никогда не смогу рассматривать с Лидой ее открытки и мои рисунки, никогда больше мы не пойдем вместе за подснежниками и не будем ловить похожих на змей вьюнов.

— До свидания! — сказала Лида. — Папа попросил, чтобы я и мама собирались как можно скорее.

И тут я вспомнил, что при расставании полагается что-нибудь подарить на память, лучше всего свою фотографию, чтобы, глядя на нее, не забывали тебя.

— Лида! — умоляюще протянул я, — Вы, пожалуйста, не уезжайте сразу, я быстро-быстро вернусь.

Казалось, ноги сами несли меня всю неблизкую дорогу до дома. Там, к моему счастью, никого не оказалось: мама еще не пришла с работы, а сестра, наверное, гуляла с подругами. Прямо с порога я устремился к этажерке, взял наш семейный альбом и стал лихорадочно перелистывать его. Сначала шли фотографии мамы в детстве и ее братьев, потом совсем молодого папы, потом мамы и папы вдвоем, их друзей, моих теток и дядьев по папиной линии и уже в самом конце наши с сестрой. Их было несколько, но, к своему ужасу, я обнаружил, что ни одна не годилась для моей цели. На пер-

вой меня запечатлели в возрасте шести месяцев — совершенно голого, на другой, где мне было года полтора, я сидел на коленях у бабушки, на третьей, уже лет трех от роду, я, как маленький, держал в руках плюшевого мишку. И, наконец, на самой последней мы стояли вместе с сестрой, одетые в шубки. На обратной стороне было написано: «февраль 1941 года». Конечно, можно аккуратно отрезать сестру и подарить Лиде половину фотокарточки, но только и на этой, последней по времени, я был совершенно непохож на себя — какой-то малюсенький толстощекий карапуз, глядя на которого можно лишь смеяться, а не грустить.

Я страшно обиделся, что за четыре с лишним года меня ни разу не сфотографировали, и со злостью швырнул альбом обратно на этажерку. Этажерка закачалась, с ее верхней полки упала коробочка, в которой сестра хранила разные свои безделушки, и они рассыпались по полу.

Как будто сама судьба подсказывала, что надо делать. Если у меня нет подходящей фотографии на память, то ведь не придумаешь ничего лучше, как подарить взамен девочке какое-нибудь украшение. У сестры их вон сколько, подумал я, и, может, она не заметит пропажи, если взять одну брошку. Конечно, в первую очередь мой взгляд остановился на блестящей божьей коровке, но благоразумие взяло верх — ее-то сестра наверняка хватится. И я, скрепя сердце, выбрал самую не приметную — маленькую костяную бабочку, по цвету похожую на обыкновенную капустницу, только резные крылышки-паутинки были у нее овальной формы.

Мне было стыдно брать чужую вещь, но, оправдывал я себя, все-таки она не совсем чужая, а родной сестры, которая, кстати, во время последней нашей ссоры разломала сделанную мной из ниточных катушек пушку, очень похожую на настоящую, так как я раскрасил ее в зеленый цвет, а ободки колес сделал черными. Получается, что теперь мы квиты. Уверив себя в этом, я зажал в кулаке брошку и бросился бежать в обратный путь.

Грузовик еще не уехал, но шофер уже крутил ручку, заводя мотор, а Лида с мамой уже сидели в кабине, а их папа — в кузове, на вещах. Вещей было совсем немного, поэтому так быстро они и собрались.

Я остановился метрах в пяти от машины и расстегнул пальто, чтобы отдышаться. На мое счастье, мотор никак не заводился, и Лидин папа спрыгнул на землю, чтобы помочь шоферу. Он увидел меня и спросил:

— Ты что, мальчик, с Лидой пришел проститься?

Я молча кивнул. Лидин папа постучал в стекло кабины и сказал, чтобы выпустили на минутку Лиду: с ней пришли проститься.

Когда Лида подошла ко мне, впервые за все время нашего знакомства на ее щеках появился румянец. Наверное, ей было стыдно перед родителями, что ее пришел провожать мальчик. Да и я чувствовал, как горит мое лицо.

— До свидания! — тихо сказала Лида и подала руку на прощание.

— До свидания! — ответил я и положил в протянутую ладошку костяную бабочку.

— Что это? — спросила Лида.

— Это тебе на долгую память, — объяснил я. — Чтобы ты меня не забыла.

Из кабины высунулась Лидина мама и крикнула:

— Лида, пригласи мальчика в гости, пусть приезжает к нам в Ленинград.

Но Лида не успела повторить этого приглашения, потому что мотор завелся, и Лидин папа тотчас же подхватил свою дочку, передал ее маме в кабину, а сам ловко запрыгнул в кузов.

— Поехали! — весело приказал он шоферу, и грузовик сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее покотился по припорошенной первым снежком дороге. И перед тем как загородила его на повороте сопка, Лидин папа помахал мне рукой...

... В это трудно поверить даже мне самому, но через десять с небольшим лет я снова встретился с Лидой Гречанковой.

Тогда я учился в Московском университете, на втором курсе филологического факультета. Я только что сдал последний экзамен зимней сессии, не помню уже какой, но помню — на четверку, и, довольный, покурил на лестничной площадке, когда ко мне подошел один из старшекурсников и сделал неожиданное предложение поехать на каникулы в Ленинград. Кто-то из их компании заболел, и я могу занять его место. Условия идеальные. Ленинградские филфаковцы обеспечивают бесплатным общежитием, гарантируют дешевую кормежку в студенческой столовой, так что расходы минимальные, считай, только на дорогу, ну и на билеты в музеи, а это копейки. Я, не раздумывая, согласился. Тем более что финансовая сторона меня не страшила —

стипендия честно заработана, а родители целиком отдавали ее в мое распоряжение.

Когда старшекурсник, благодетельствовавший меня, ушел, я принялся размышлять о предстоящей экскурсии.

Вот тогда-то из глубин памяти выплыло это имя Лида Гречанкова, а затем и она сама — бледная светловолосая девочка с голубой жилкой на худенькой шее.

Дома, получив от мамы согласие на поездку, я спросил ее, не сохранились ли у нас случайно мои военные рисунки, которые рисовал в первом классе. У меня еще была для них специальная папка.

— Случайно сохранились, — улыбнулась мама. — Они в нашем большом чемодане, завернуты в клеенку.

Я достал из-под кровати чемодан, вытащил приметный сверток и обнаружил в нем массу «исторических реликвий»: школьные дневники, мои и сестры, наверное, за все классы, наши похвальные грамоты, тетрадки с моими сочинениями по литературе. Находилась в этом архиве и та самая папка. Рисунки мои по технике исполнения оказались отнюдь не выдающимися, да и вид у них был неважнецкий. Бумага пожелтела, синее небо стало серым, обмундирование у солдат выцвело, знамена поблекли, и только клубы дыма, окутывавшие танки с ненавистой свастикой, остались густо-черными. Но совсем не рисунки, как думала мама, интересовали меня. Среди них должна была быть подаренная Лидой открытка, которую я тогда же положил в свою заветную папку.

И она, к великой радости, оказалась целаневредима: Петр Первый с моей саблей в руке. На об-

ратной стороне слева аккуратным почерком были написаны следующие строчки, я помню их дословно: «Дорогие Леша и Клава! Поздравляю вас и маленькую Лидочку с Новым 1941 годом! Пусть он принесет вам много счастья и веселья. Заглядывайте ко мне почаще. Я всегда рада вас видеть. Маруся». А сбоку после типографского «Куда» неведомая мне Маруся четко вывела адрес семьи Гречанковых.

Чтобы не было лишних расспросов, я незаметно сунул открытку в карман и еще некоторое время с напускным интересом рассматривал содержимое папки.

Ленинград ошеломил нас гордым достоинством, строгой величественной красотой. Я полюбил его с первого взгляда, и он, не желая ни с кем делить эту любовь, заставлял меня с утра до вечера бродить по своим набережным, проспектам и площадям. И я все откладывал и откладывал визит по адресу, указанному на старой открытке. Но за три дня до окончания нашей самостоятельной экскурсии я все-таки понял, что буду очень жалеть, если вернусь в Москву, так и не попытавшись разыскать Лиду Гречанкову.

Эта мысль пришла ко мне на Невском, и я не стал утруждать себя поисками справочного киоска, а остановил какую-то старушку, выходящую из булочной, справедливо рассудив, что хлеб покупают жители города, приезжие — те питаются в столовых, и спросил, не знает ли она, как попасть на улицу, обозначенную в открытке. Старушка действительно оказалась коренной ленинградкой и обрадовано сообщила, что улица, которую я ищу, всего в двадцати минутах ходьбы отсюда, и очень

толково объяснила, сколько и где сделать поворотов, чтобы выйти на нее.

Уже через десять минут я стоял у длинного пятиэтажного серого здания, построенного, в этом я уже стал немножко разбираться, в начале нынешнего века, не раньше. Сердце мое учащенно билось. Именно здесь, как утверждал адрес на открытке, до войны жила семья Гречанковых.

«Но живет ли сейчас? — вдруг испуганно подумал я. — Ведь не обязательно они вернулись на старую квартиру, могли за это время получить новую, а то и вообще переехать в другой город». Однако отступать от задуманного было уже, по меньшей мере, глупо, и я решительно вошел в подъезд. Квартира, которую искал, была на третьем этаже, как поднимаешься — первая слева.

Мне очень хотелось, чтобы на звонок вышла сама Лида, однако дверь открыла невысокая пожилая женщина. Она вопросительно смотрела на меня, а я все никак не мог собраться с духом, но наконец выпалил:

— Скажите, пожалуйста, здесь живет Лидия Гречанкова?

— Вы к Лиде? — удивилась женщина. — Но она сейчас на работе.

Вместо того чтобы обрадоваться, что нашел-таки Лиду, что здесь она, что никуда не делась, я глупо спросил: «Как на работе?» Почему-то мне представлялось, что Лида тоже должна быть студенткой, ведь она лучше всех училась в нашем классе.

— Извините, но вы кто будете? — слегка насторожилась женщина.

— Ее старый знакомый, — правдиво ответил я.

— Ах, старый! — она не смогла сдержать улыбки.

— Тогда приходите вечером. Лида будет после шести.

До шести оставалось три часа, и эти три часа я бродил по Ленинграду, не замечая красоты его проспектов, набережных, мостов. Я мог думать только об одном — о близкой встрече с девочкой из моего детства.

Вечером дверь открыла та же женщина. Она пригласила меня войти и крикнула:

— Дочка, это к тебе. Тот самый молодой человек.

Из прихожей я увидел, что в комнате, дверь ее была открыта, сидят за столом и пьют чай лысоватый мужчина и девушка, издали никак не похожая на мою Лиду, хотя бы потому, что волосы у этой темные.

Девушка вышла из комнаты и уставилась на меня ничего не понимающими глазами. Вблизи она тоже была не похожа: высокая, стройная, но совсем не бледная и не большеглазая. И только чуть заметная жилка пульсировала на шее, подсказывая, что это та самая Лида Гречанкова.

— Извините, я вас не знаю, — пожала она плечами и чуть покраснела.

Оттого что Лида смутилась, робость моя пропала, какое-то тихое ликование овладело мной, я решил подурачиться немного и по праву старого друга перешел на «ты»:

— Как не знаешь? Мы с тобой очень хорошо знакомы.

— Вы ошибаетесь, я вас вижу в первый раз, — совсем уже обескураженная моим запанибратским обра-

щением, сказала Лида и выразительно посмотрела на маму: мол, честное слово, она меня не знает.

— Да нет, — возразил я, стараясь быть как можно более серьезным. — Ты видела меня, по меньшей мере, раз триста.

Мужчина, который до этого прислушивался к нашему странному разговору из комнаты, счел необходимым выйти в прихожую. Это без сомнения был Лидин отец — те же глаза, нос. Он посмотрел на меня не очень-то приязненно, и я понял, что пора открывать карты.

— Мы встречались в поселке Моховая Падь! Первой среагировала Лидина мама.

— Господи! — она всплеснула руками. — Так вы из Моховой Пади!

А за ней вскрикнула Лида:

— Ой, неужели Борис?!

— Какой еще Борис? Что, так изменился, что нельзя узнать? — И я назвал свое имя.

По выражению Лидиных глаз я понял, что, увы, оно ей ничего не сказало.

— А как вы нас разыскали? — деловито осведомился Лидин отец.

Вместо ответа я протянул ему открытку с памятником Петру Первому. Лидин отец долго рассматривал ее, и лицо его мрачнело. Без слов передал он открытку жене. Та только взглянула на нее и заплакала.

— Молодой человек, — все еще сквозь слезы обратилась она ко мне. — Оставьте, пожалуйста, эту открытку нам. Я уж и не думала, что осталось хоть что-нибудь

на память о лучшей моей подруге. Она погибла в блокаду...

А потом меня накормили ужином, и мы вместе пили чай, вспоминали Дальний Восток, сорок пятый год, наше далекое детство. Лида, к легкому моему огорчению, начисто забыла и про желуди, и про подснежники, и про вьюнов, зато рассказывала о совсем других событиях школьной жизни, которые забыл я. Мне было очень хорошо в этой милой, гостеприимной, настоящей ленинградской семье.

Но вот пришло время прощаться, и Лидин отец нарочито строгим голосом дал указание дочери показать гостю дорогу к остановке автобуса, который довезет прямо к общежитию. Надо ли говорить, что от этой остановки я проводил Лиду до дома, и мы еще постояли немного, болтая о разных пустяках.

С каждой минутой я все больше убеждался, что она очень симпатичная девушка, которая, пожалуй, не затерялась бы даже на нашем девичьем факультете, и ругал себя последними словами за то, что так поздно нашел ее. Надо бы еще обязательно встретиться, но завтра Лиде предстояло сдавать зачет (она все-таки была студенткой, только училась на вечернем отделении какого-то технического вуза), а на послезавтра наша экскурсионная группа в полном составе взяла билеты на «Пиковую даму».

Не потому, что мы все до единого оказались горячими поклонниками оперного искусства, а скорее, чтобы с пользой скоротать последний вечер, ведь «Красная стрела» уходила почти в полночь. С учетом этого обстоятельства, дающего шанс, что кто-нибудь из ребят

уступит мне свой билет, я пригласил Лиду в театр. И действительно, один из старшекурсников вошел в мое положение.

И вот я стою у театра. Слякотная погода, которая держалась целую неделю, сменилась легким морозцем. Идет пушистый снег. И, как сказочная принцесса, возникает из снежной круговерти стройная девушка.

А когда я сдал в гардероб наши пальто и получил возможность, как следует разглядеть Лиду, то почувствовал, что вроде снова влюбляюсь. Она казалась мне очаровательней любой из множества толпившихся в фойе красавиц в изысканных вечерних туалетах, хотя и была одета в простенький темный костюм и на ней не было никаких украшений, кроме маленькой брошки в виде бабочки.

Что-то заставило меня остановить взгляд на этой бабочке. Бледно-зеленый, почти белый цвет, овальные крылышки-паутинки... Так это ж мой подарок! И вряд ли Лида выбрала эту брошку случайно. Значит...

Она заметила мой взгляд.

— Нравится? Правда, красивая? А знаешь, кто мне ее подарил? — У меня перехватило дыхание. — Борис Снегирев. Ну, мальчик, который сидел со мной за одной партой. Он еще был самый сильный в нашем классе.

«Ты все перепутала, Лида, — хотел сказать я. — Это же мой подарок».

Однако ничего не сказал.

1983 г.

БУКЕТ КРАСНЫХ РОЗ

После программы «Время» началась трансляция вечера поэзии, и Александр Алексеевич остался у телевизора один. С первого этажа доносилась музыка, там были танцы. Танцевать он не умел, спать вроде еще рано, читать не хотелось. Вот и оставалось сидеть одному, слушать стихи, которые он никогда не понимал, и злиться на весь свет.

Но скоро этот абстрактный «весь свет» приобрел черты вполне конкретного человека, а именно жены Татьяны. Конечно же, если бы не ее уговоры, он не поехал бы в санаторий. Сидел бы сейчас у Кольки Ильина в его уютной квартире, попивали бы они пивко, а может, еще и с лещом, как в тот раз, и не спеша вспоминали студенческую жизнь, строительный отряд, где подружился, военные сборы после четвертого курса. А потом походил бы он по Ленинграду, просто так, без всяких экскурсий, и было бы ему радостно узнавать те улицы, дома, мосты и памятники, что показывал ему семь лет назад Николай, как всякий коренной ленинградец, знающий свой город не хуже штатного экскурсовода. Тогда ему тоже пришлось идти в отпуск в ноябре. Тоже сдавали машину, тоже надо было выбивать недостающие узлы. Хуже нет, когда имеешь дело не с одним-двумя, а с добрым десятком поставщиков, и большинству из них твоя машина, как говорится, до лампочки, и они, хотя и понимают, что тебе надо сдать ее к празднику, чтобы выполнить обязательство, но у них свои обязательства и их тоже подводят свои поставщики. Те-

перь все позади. Пятого ноября машину запустили, и после праздников начальство без звука подписало заявление на отпуск. Он уже настроился ехать к Николаю, даже обговорил по телефону день приезда, но, когда получал отпускные, встретился случайно в бухгалтерии с Предместкома, и тот, расспросив о планах и узнав, что, собственно, планов никаких нет, так, погостит недельку-другую у друга в Ленинграде, а потом поболтается дома: отдохнуть — не работать, сделал ему неожиданное предложение махнуть в санаторий в Кисловодск. Пропадала горящая путевка, предназначавшаяся для кого-то из начальства. Так что, можно сказать, Александру Алексеевичу крупно повезло и с него причитается. Он стал отказываться: мол, и друг уже ждет, и на здоровье, слава богу, грех жаловаться, пусть съездит лучше тот, у кого печень больная — или что там лечат в этом Кисловодске? Предместкома страшно разволновался, обозвал его дураком, и он, чтоб уж совсем не обижать человека, да и прослыть дураком не хотелось, сказал, что если время терпит, то надо бы посоветоваться с женой. Предместкома оттаял немного, дал сроку до утра, потому что путевка начиналась через три дня, и, если поездом, уже послезавтра надо выезжать. Когда за ужином рассказал он Татьяне про путевку она тоже заявила: будешь последний дурак, если откажешься, а Николай со своим Ленинградом подождет; и объяснила, что лечат в Кисловодске совсем не печень, это рядом — в Ессентуках, здесь же самые целебные факторы — и нарзан, и горный воздух — для таких, как он, начинающих гипертоников. А еще успокоит он свои нервишки, которые совсем расшатал, пока сдавал эту машину, премию

за нее получать набежит народу ой-ой-ой, по командировкам же мотаться желающих что-то немного было.

Он и сам уже замечал, что в последнее время начал психовать, и голова частенько побаливала. И ему стало даже приятно, что вот жена так горячо уговаривает, значит, беспокоится о его здоровье, хотя и сама намечала заставить его после Ленинграда сменить проводку на кухне, а в комнате Игоря сделать полный ремонт.

Теперь же, после пятидневного пребывания в санатории (срок вполне достаточный, чтобы озвереть от скуки, вызываемой размеренным однообразием курортной жизни), он понял, что нервы расшатались совсем не из-за машины. Если вспомнить, почему психовал, так все из-за нее, из-за Татьяны. Взять хотя бы эти регулярные субботние стирки. Уже в восемь будит, чтобы помог ей задвинуть в ванную стиральную машину. «А потом спи, пожалуйста, сколько хочешь». Черта с два потом заснешь! Поворочался двадцать минут, встал, а зубы дочистить негде — в ванной «Эврика», а в раковине на кухне жена овощи моет. Вот так с утра и испорчено настроение на целый день.

Дальше Александр Алексеевич хотел было подвергнуть Татьяну уничтожающей критике за то, что она, врач, да не просто врач — зав. терапевтическим отделением районной поликлиники, значит, должна сообщать что-то, а она вечно кутает Игоря, и он из-за этого простужается, и она кутает его еще больше. Своим же пациентам, небось, твердит: почаще проветривайте помещение, обливайтесь холодной водой...

Тут пришлось прервать анализ профессиональной компетенции жены, потому что сзади кто-то сел в кресло и приятный женский голос произнес:

— О! В нашей богадельне, оказывается, есть любители поэзии!

Александр Алексеевич сразу узнал этот голос. К нему под села та самая отдыхающая, на которую он обратил внимание еще в день своего приезда. Есть особый тип женщин — они не красавицы, нет, бывают даже и не очень симпатичные, а только умеют себя подать, преподнести каким-то хитрым образом, так что любой мужчина, встретив такую, невольно замедляет шаг да еще и оборачивается, чтобы получше разглядеть, чем же это его зацепили.

Вот и Александр Алексеевич скосил глаза и притормозил, когда, ведомый диетсестрой к месту; за которым предстояло ему в течение двадцати четырех дней принимать пятнадцатую диету, проходил мимо блондинки, оживленно о чем-то беседовавшей с двумя седовласыми бодрячками в элегантных спортивных костюмах. Их столы оказались соседними, но судьба в лице диетсестры распорядилась посадить его спиной к блондинке, так что он видел ее лишь, когда шел на свое место. На третий, кажется, день Александр Алексеевич поймал себя, на том, что специально тянет время, чтобы прийти в столовую тогда, когда уже там будет блондинка. Накануне он заявился ужинать в числе первых, она гораздо позже, и ему почему-то стало досадно, что он лишил себя возможности посмотреть на нее все те двадцать шагов, что составляли путь от входа до ее стола.

Что же в ней все-таки привлекало внимание? Может, чуть вызывающий соломенный цвет волос? Или пухлые капризные губы? Или родинка на подбородке? Или ее наряды — довольно оригинальные, без сомнения импортные вещицы, которые, как показалось Александру Алексеевичу, меняла она не меньше трех раз на дню? А может, этот голос, довольно низкий и какой-то воркующий?

— Да нет, какой я любитель, — почему-то счел нужным объяснить Александр Алексеевич. — Просто сижу от нечего делать.

— Вы в семнадцатом полулюксе, кажется? — спросила блондинка. Он кивнул и возгордился: мол, и на нас обратили внимание.

— Я, знаете, тоже предпочитаю на отдыхе жить в отдельной палате. Ни от кого не зависишь, хочешь — читаешь, хочешь — спишь. А то, говорят, еще такие храпуньи среди нашего брата попадают, почище мужиков! — И она весело засмеялась, и ее чуть вздернутый носик мило сморщился.

— А я первый раз в санатории, — признался Александр Алексеевич.

— Вам здесь понравится, — убежденно сказала блондинка. — И хорошо, что мы на горке, подальше от города. А то за год московская толчея так надоедает. Я шесть лет назад открыла этот санаторий и теперь езжу только сюда, правда, стараюсь подгадать на сентябрь-октябрь, но нынче вот удалось выбраться только в ноябре, «Жигули» никак не могла отремонтировать, все тянули-тянули, пока не догадалась положить на лапу.

Так это, кажется, называется? — И она снова засмеялась и без всякого перехода спросила. — А вы тоже москвич?

— Москвич, — сказал Александр Алексеевич и неожиданно для самого себя добавил. — Получил недавно квартиру в Беляеве. Далековато, но район чудесный.

— Так мы с вами совсем соседи, — обрадовалась блондинка (по крайней мере Александру Алексеевичу показалось, что она именно обрадовалась). — А я живу на Обручева, совсем рядом с Ленинским, знаете, такой большой кооперативный дом?

— Знаю, — тоже обрадовался Александр Алексеевич. — Красивый домина. Квартиры, наверное, у вас там шикарные?

— Жить можно, — засмеялась блондинка. — Только что это мы начали знакомство с адресов? Представьте, пожалуйста.

— Александр Алексеевич, — вспомнив, что сидя, кажется, знакомиться не принято, он привстал с кресла.

— Ну, какой вы Алексеевич! — улыбнулась блондинка. — Я вас буду звать просто Сашей. А вот как меня зовут, вы без труда угадаете, если сообщу вам, что родилась в мае сорок пятого года, — видите, я пока еще не скрываю своего возраста, и что пана у меня был генерал.

— Понятия не имею, как называют своих дочерей генералы, — простодушно сказал Александр Алексеевич.

Блондинка снова засмеялась и смеялась долго и заразительно. Смех этот было приятно слушать, и может, как раз в нем-то и заключалась ее изюминка?

— Ой, я сбила вас с толку, — все еще сквозь смех проговорила блондинка. — Папа тогда еще не был генералом, он тогда был, кажется, только подполковником или даже майором. В общем, военным человеком. И как должен был назвать военный человек свою дочь, которая родилась в мае сорок пятого года? — Блондинка сделала паузу, но так как Александр Алексеевич молчал, не стала томить его. — Конечно же. Викторией, что значит «победа». А для друзей — Вика. — И она протянула Александру Алексеевичу свою руку, оказавшуюся очень маленькой и нежной.

Так они познакомились. И уже на следующий день курортная жизнь перестала казаться Александру Алексеевичу скучной и однообразной. Ванны они принимали примерно в одно и то же время — сразу после завтрака — и потом шли гулять. В те пять дней, до знакомства с Викой, Александр Алексеевич изучил только один маршрут до «Красного солнышка», но она потащила его и на «Малое седло» и на «Большое», и вела его не обычным путем, по которому шло большинство курортников, а по туристской тропе, где за час им попадались от силы один-два человека. Хотя деревья, росшие по склонам, уже сбросили листву, но так густо теснились вокруг тропы, что отдельные ее участки всегда были в тени и оттого казались мрачноватыми и таинственными. Попадались на пути и романтические гроты, чьи своды устрашающе нависали над самой головой. Правда, их романтичность несколько смазывалась оставленными на седых камнях автографами бесчисленных Люб, Кать, Марий, Николаев, Романов, Дим, Петь, Пилипенко, Сидоренко, Столяренко. А одна надпись, сделанная на ве-

ка, не без юмора сообщала: «Здесь проходил Андрюха Маклай». Нет, она молодец, что открыла для него эту пустынную тропу. Александр Алексеевич был по натуре человеком замкнутым, стеснительным, предпочитал одиночество, хотя и тяготился им, поэтому та масса людей, которая обтекала его со всех сторон по пути к «Красному солнышку», действовала на него удручающе.

Теперь же, пройдя вместе со всеми не больше километра, они сворачивали вправо и оказывались практически совершенно одни. И тогда можно было говорить и говорить, не опасаясь, что твои слова услышат чьи-то чужие уши, для которых они вовсе не предназначались. Говорили они о разных пустяках и о вещах серьезных. Александр Алексеевич — о своей машине, о поставщиках, которые способны укоротить жизнь наполовину, о том, как мечтал попить пивка со своим лучшим, еще со студенческой скамьи, другом Колькой Ильиным, но теперь несколько не жалеет, что вместо Ленинграда попал в Кисловодск. Вика сообщила ему, что работает в издательстве старшим редактором, но работу свою охарактеризовала коротко — «скукота» и больше не добавила к этой характеристике ни слова. Зато она просвещала Александра Алексеевича в вопросах искусства, рассказывала о театральных премьерах, о фильмах, которые крутили только на просмотрах, о выставках, куда попасть без пригланительного билета можно, лишь простояв в очереди целый день. Из рассказов Вики он узнал, что среди ее знакомых немало людей известных, некоторых он даже видел по телевизору. Слушая ее, он

чувствовал, что она из какого-то другого мира, мира изысканных мыслей, чувств, привычек.

Оставшись один в случайно доставшемся ему полу люксе, Александр Алексеевич перебирал в памяти все, что говорила ему Вика, и с горечью осознавал, как далека она от него или, может, он от нее? — и что надо, пожалуй, пока не поздно, пока не влюбился, как последний мальчишка, отказаться от роли сопровождающего, которую она определила для него еще в первый вечер их знакомства.

— Вы знаете, Саша, — сказала она тогда, — предлагаю заключить союз. Я буду показывать вам достопримечательности Кавказских Минеральных Вод, а вы должны быть моим кавалером, всюду меня сопровождать и защищать от преступных посягательств. Мои прежние компаньоны, соседи по столу, сегодня уехали — один во Львов, другой в Одессу, и я осталась однаодинешенька. — Она засмеялась, давая понять, что предложение это шутовское, так что он волен его не принимать.

Но он легкомысленно принял его и теперь действительно оказался каким-то пажом при Вике, и именно в этом качестве, судя по всему, он ее как раз и устраивал.

— С вами я чувствую себя в безопасности, — говорила она. — Когда вы рядом, я спокойна: мне не начнут говорить пошленькие комплименты и не станут приглашать в «Замок коварства и любви». Джентльмены видят, что я уже занята. И вам, надеюсь, не очень неприятно быть вместе с молодой очаровательной женщиной, на которую все пялят глаза?

Александр Алексеевич обижался, и она легонько шлепала своим пальчиком по его губам и смеялась: «Вам не идет дуться. Ну, перестаньте, а то я рассержусь». Конечно же, довольно скоро Александр Алексеевич объяснился Вике в любви. Зачем он это сделал, на что рассчитывал, он и сам не знал. Ведь у него семья, которую он не собирался бросать, и Вика была не из тех женщин, чго согласны на мимолетную интрижку, в этом он убедился, да и он никак не представлял себя действующим лицом такой интрижки. В общем, чувство, в котором он признавался Вике в том самом гроте, где проходил Андрияха Маклай, было расплывчатым, неопределенным и со стороны, наверное, довольно смешным.

— Это я виновата, — серьезно сказала Вика, выслушав его сбивчивые объяснения. — Вот и вы, такой бука и нелюдим, а тоже не устояли. Знаете, у меня просто какое-то врожденное кокетство. Я стараюсь каждого мужчину влюбить в себя, а потом не знаю, что с ним делать. Вы только не принимайте все всерьез, мы же на курорте, вот и относитесь к встрече со мной как к легкому курортному роману. Вернетесь домой, займетесь своей машиной, которая экономит целых четыре процента проката, — видите, я запомнила, — усовершенствуете ее, так что она будет экономить пять процентов, и, поверьте, я очень быстро выветрюсь у вас из головы. Хотя мне это будет немножко грустно. Впрочем, я, кажется, опять кокетничаю.

— Поверьте мне. Саша, — продолжала она, снова становясь серьезной, — может быть, я выгляжу немножко легкомысленной и доступной, что ли, — будем до конца откровенны, — но я очень строго отношусь к

своим чувствам. Вы мне нравитесь, вы мягкий и добрый человек, честный и порядочный, и наверняка отличный работник. Но вы — не герой моего романа. Вы знаете, я признаю только одну любовь — любовь-страсть, когда человек ради любимой совершает безрассудные поступки, не боясь показаться смешным или сумасшедшим. Не смейтесь, но я безумно бы влюбилась в какого-нибудь джигита, — так, кажется, величают себя жители окрестных аулов? — если бы он выскочил вдруг на лихом скакуне на эту тропу, накрыл меня буркой и увез в горы. Но, увы, нынешние горцы предпочитают завоевывать женщин червонцами, которые зарабатывают их жены, торгуя пуховыми платками на пятигорском базаре. Вот и вы, не обижайтесь, какое сумасбродство сможете сделать, чтобы завоевать меня? Пригласите в «Замок»? Я там была, и ничего интересного там нет. Съедем мы по цыпленку-табака, послушаем, как оркестр в честь уважаемого гостя Володи из Цхалтубо исполнит грузинскую народную песню «Сулико», вы выпьете немножко и снова объяснитесь мне в любви.

Он понимал, что она права, но продолжал твердить какие-то наивные, глупые слова, которые должны были уверить ее, что он не такой, как все. Если же она не видит этого, то не лучше ли прекратить совместные прогулки.

Она так и не уверилась, но и прогулок они не прекратили. И он уговорил-таки ее съездить в «Замок», а потом сходить в варьете — хорошо Татьяна помимо ста рублей, которых как они решили, будет достаточно для курорта, на всякий случай дала ему еще двадцать пять. И снова он объяснялся Вике в любви.

Они проходили как раз по улочке, что вела к вокзалу. Несколько женщин продавали астры, а мужчина с гордым орлиным носом — пунцово-красные розы, которых было у него полное ведро, видно, только что принес. Прикинув в уме, сколько у него еще остается денег, Александр Алексеевич решил, что пятерку смело можно потратить, и направился к продавцу роз. На пятерку тот дал ему три штуки

— Для такой женщины, — громко сказал горный орел. — Делаю скидку

Вика поблагодарила за цветы, задумалась и спросила:

— Помните тот наш разговор? Так вот, еще один пример. Заметили, как продавец смотрел на меня? Я прочитала на его лице все, что он думал. Он прикидывал, хватит ли выручки за ведро роз, чтобы я согласилась провести с ним вечер. А вот если бы он, ничего не требуя взамен, взял бы и отдал мне весь этот букет, просто так, за мои красивые глаза, я бы стала его рабыней, наложницей, кем хотите. А если бы в тот момент, когда он дарил мне цветы, вы бы, Саша, выхватили кинжал и пронзили его сердце, я полюбила бы вас.

И она засмеялась, но он почувствовал в ее словах грусть.

— Вы деликатны, Саша, — после небольшой паузы продолжила она. — И не спросили, почему я разошлась с мужем. А я вам сейчас расскажу. Но сначала расскажу, почему я вышла замуж. Мне было восемнадцать лет, а ему на двадцать пять лет больше. Он был младше моего отца всего на год. И я решила, что раз такой человек — семейный, с положением, он уже тогда занимал хо-

рошую должность во Внешторге — предлагает руку и сердце девчонке, значит, он влюбился в нее безумно, страстно, словом, такой любовью, которую я только и признаю. Не сразу, но очень скоро я поняла, что он рассуждал вполне рационально: просто молодое мясо лучше старого. Но я все-таки сохраняю иллюзии и верю в безрассудство любви.

А потом он провожал ее в Москву и умолял назвать свой телефон, а она, как маленькою, погладила его по голове и сказала: «Не надо, Саша, строить воздушные замки. Когда они рушатся, их обломки тоже могут причинить боль». Когда же поезд тронулся и стал набирать ход, она поманила его рукой, крикнула из-за плеча проводницы: «Ну, прыгайте же!» Или это просто кровь стучала в его висках?

Ему еще предстояло пробыть в санатории пять дней. И они потянулись безрадостные, серые, скучные. А на третий день он понял, что должен сделать. Он проходил мимо того самого горца, что продавал розы. Тот продавал их и сейчас по два рубля за штуку.

— Послушайте, уважаемый, — сам удивляясь своей решительности, вдруг сказал Александр Алексеевич. — А не могли бы вы мне завтра к отходу московского поезда приготовить букет из двадцати пяти красных роз, таких, какие я покупал у вас пять дней назад, может, помните, я был тогда с блондинкой.

— Для нее цветы? — деловито поинтересовался продавец. — Такой женщине подберу лучшие розы. Давай задаток двадцать пять рублей.

Александр Алексеевич, ни слова не говоря, отдал последнюю четвертную, что у него оставалась, и пошел

на почтамт звонить в Ленинград. Просить Николая, чтоб выручил. Деньги он получил уже утром, но потом оказалось, что не так просто сдать свой билет и купить новый. Пришлось идти к начальнику вокзала, врать ему, что неожиданно вызвали на работу и что речь, мол, идет о заказе для МПС. Начальник вокзала, кажется, сразу раскусил эту нехитрую ложь, но, видно, был в хорошем настроении и написал записку кассирше, чтоб выдала билет.

Продавец не подвел, и когда Александр Алексеевич за полчаса до отхода поезда приехал на вокзал, тот уже поджидал его с большим букетом роз. Цветы действительно были на редкость красивы.

— Красный цвет обозначает любовь, — подмигнул продавец Александру Алексеевичу, принимая от него двадцать пять рублей. — От такого букета ни одна красавица не устоит.

— А довезу до Москвы? — вдруг испугался Александр Алексеевич.

— Всего час, как срезал, — успокоил цветовод. — И потом, очень стойкий сорт, можно сказать, мичуринский. Но чтоб совсем спокоен был, брось в ведро, где стоять будут, два куска сахара.

— Ой, какой букет! — всплеснула руками проводница, к которой Александр Алексеевич обратился с просьбой о ведерке. — Это сколько ж вы на него денег потратили? Да на эти деньги лучше б кофточку купили из козьего пуха. Все курортники их покупают. — И осуждающе покачала головой: до чего, мол, непрактичные бывают люди. Но ведерко дала и даже посоветовала, кроме сахара, бросить в воду еще две крупинки мар-

ганцовки, и сама же не поленилась сходить за марганцовкой в соседний вагон, где была поездная аптечка.

Всю дорогу Александр Алексеевич пролежал на своей второй полке, гордо поглядывая на букет, стоящий на столике, и предаваясь мечтаниям. Поезд приходит в Москву в пять утра с минутами. Четверть часа на ожидание такси. В шесть он уже на улице Обручева. Большой кооперативный дом весьма приметен. А квартира — он как-то при Вике решил заполнить на счастье карточку спортлото, и она подсказала, какую клеточку зачеркнуть последней, и, смеясь, убеждала, что эта цифра точно выпадет, потому что это номер ее квартиры. И контрольный билет с этой цифрой лежал у него в кармане.

Итак, он звонит. Она открывает дверь, трогательная, заспанная, в воздушном халатике, — к такому однажды приценивалась Татьяна, но только ахнула, разглядев цифры на ярлыке: «Это ж зимнее пальто Игорьку!»... И вот она открывает дверь, видит букет роз, все понимает без слов и падает в его объятия. Дальше все виделось туманно и зыбко.

То ли сахар помог, то ли марганцовка, то ли сорт действительно был мичуринский, но когда приехали в Москву, а поезд опоздал на два с половиной часа, розы выглядели так свежо, будто их только что срезали, и источали необычайно дурманящий аромат. Свободное такси нашлось сразу так что цветы и не почувствовали легкого декабрьского морозца.

— На улицу Обручева, — сказал Александр Алексеевич таксисту, который не удержался, чтобы не присвистнуть при виде такого чудесного букета. — Знаете,

как свернешь с Ленинского, будет красивый большой дом.

Александр Алексеевич сидел на заднем сиденье, прижимал к груди свой букет, изредка поглядывал в окно и пытался снова и снова вообразить, как же произойдет их встреча с Викой. Вдруг он обнаружил, что с Добрынинской они свернули на Люсиновскую, вместо того чтобы ехать прямо на Октябрьскую и дальше по Ленинскому.

Таксист поймал в зеркальце его удивленный взгляд и объяснил:

— Забыл, что Ленинский сейчас закрыт. Какого-то президента встречают. А мы махнем через Черемушки, а у Калужского метро как раз на Обручева и свернем.

Вот и Черемушки. А сейчас промелькнет дом, где они с Татьяной снимали комнату, когда поженились. Они тогда заканчивали пятый курс, но Татьяне еще предстоял год учебы, и полгода они жили на две стипендии, правда, его родители давали каждый месяц по тридцать пять рублей на десятиметровую комнату, которую они снимали в этом уже оставшемся позади доме. Он тогда подрабатывал на разгрузке вагонов, а питались они, в основном, сахарной кукурузой, которая стоила баснословно дешево — двенадцать или четырнадцать копеек банка. А еще Татьяна ездила на Даниловский рынок и, простояв там в очереди часа два, привозила ливерную колбасу, белый зельц и куриные потроха, из которых получался замечательный бульон. А еще в этой комнате, как раз в декабре, на целую неделю вышло из строя отопление. И они, дрожа, ложились в ледяную постель, набрасывали поверх одеяла пальто

и вес равно стучали зубами от холода. Ночью он просыпался оттого, что Татьяна тесно-тесно прижималась к нему, стараясь согреться теплом его тела. И когда он обнимал ее, она благодарно улыбалась во сне...

— Знаете, — сказал таксисту Александр Алексеевич, после Калужской поезжайте прямо, в Беяево.

1980 г.

ДОЧКА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ

Ирочка Бычкова решила выйти замуж.

— Приговор окончательный и обжалованию не подлежит, — сказала она матери. (Ирочка была девушка с юмором).

Татьяна Викторовна поначалу не придавала серьезного значения словам дочери, на секунду только подняла голову от вязанья:

— За кого же? Уж не Толик ли сделал предложение? Толик был Ирочкин однокурсник, долговязый конфузливый юноша, влюбленный в Ирочку и чуть ли не каждый день посвящавший ей свои новые стихи («Ужасно графоманские», — утверждала Ирочка). Но, несмотря на эту свою влюбленность, он ну никак не годился в женихи.

Милый мальчик — за таких замуж не выходят, с такими только дружат. И Татьяна Викторовна искренне радовалась этой дружбе, потому что она оберегала ее неопытного ребенка от нехороших компаний, ведь на курсе, так считала Татьяна Викторовна, наверняка были уже развращенные циничные молодые люди из тех, что вместе с родителями подолгу жили за границей, а там можно набраться чего угодно.

— Представь себе, не Толик! — с вызовом бросила Ирочка, негодуя, что мать так безучастно отнеслась к ее заявлению.

Тут Татьяна Викторовна встревожилась, даже отложила в сторону вязанье:

— Так кто же он, твой избранник?

— Зовут его Володя, но это имя тебе ни о чем не говорит. Мы познакомились с ним у Ленки на дне рождения. Он ее какой-то дальний родственник.

— Постой-постой, — недоуменно сказала Татьяна Викторовна. — Но ведь у Леночки день рождения был всего неделю назад.

— Любовь с первого взгляда, — торжественно произнесла Ирочка. — Надеюсь, ты веришь в такую любовь?

— Выпороть бы тебя! — не сдержалась Татьяна Викторовна, но тут же умерила гнев, увидев, как дочь упрямо поджала губы.

«Да, характер у Ирочки строптивый, если встретит сопротивление, назло будет упорствовать, хотя, может, в душе и признается потом в своей неправоте. Поэтому надо взять себя в руки, сделать вид, что ничего особенного не случилось, а там дочка перебесится, как говорится, и все встанет на свои места». И, приняв такое решение, Татьяна

Викторовна уже спокойно (внешне спокойно, конечно, а внутри-то творилось черт знает что) спросила:

— Так кто же все-таки этот Володя?

— Скоро узнаешь, — все еще дуясь на мать, сухо ответила Ирочка. — В шесть часов он придет свататься.

И удалилась в свою комнату.

У Татьяны Викторовны появилось желание ворваться, не войти, а именно ворваться к дочери, крикнуть ей, что она неблагодарное, злое, жестокое существо, и отшлепать как следует. Чтоб поняла наконец, что она еще сопливая девчонка, что не может, не имеет права решать свою судьбу без матери. Потому что

единственное, что осталось в жизни у матери, это она, ее дочь, ее Ирочка. Но вместо всего этого Татьяна Викторовна ушла на кухню, принялась чистить картошку и чистила ее долго-долго. И всё это время плакала — беззвучно и без слез.

Ровно в шесть раздался звонок, и Татьяна Викторовна, открыв дверь, увидела на пороге невысокого, чуть лысеющего брюнета — шляпу он уже снял и прижимал ее к груди в церемонном поклоне. Потом брюнет вручил хозяйке букет очень красивых хризантем, надел шляпу и, освободив таким образом руки, подхватил стоявшие на полу большую коробку с тортом и элегантный портфель-дипломат и вступил в квартиру. Там он передал коробку и портфель Ирочке, которая уже стояла в прихожей и лучезарно улыбалась, и стал аккуратно, не спеша снимать пальто.

Татьяна Викторовна застыла с букетом в руке, совершенно не соображая, как ей себя вести и что говорить, потому что в голове стучало одно и то же: «Господи! Он же, наверное, вдвое старше Ирочки». Из этого столбняка вывел ее жизнерадостный возглас дочери:

— Володя! Ты произвел на маму обалденное впечатление.

— Ирочка, что за слова?! — строго сказала Татьяна Викторовна, сразу придя в себя. — Что о тебе подумает Владимир... э-э... — Она не заканчивала фразу, ожидая, что он подскажет свое отчество.

— Надеюсь, вы меня будете звать просто Володей,— улыбнулся он.

— Да, конечно, — смутилась Татьяна Викторовна и, стараясь сгладить возникшую по ее вине неловкость,

засуетилась. — Что же мы стоим в прихожей? Пожалуйста, проходите. Надеюсь, не откажетесь поужинать с нами.

— Ну, мама, ты в своем репертуаре! — Ирочка бросила на мать осуждающий взгляд. — Человек только пришел, и ты сразу тащишь его за стол. Мы сначала поболтаем с Володей у меня, послушаем музыку, а потом уж можно и твоей картошки поесть.

— Ириша, ты не права, — укоризненно покачал головой Володя. — Родителей вообще нельзя критиковать. Учти на будущее, когда вместе с моими будем жить.

— Конечно, если хотите, послушайте сначала музыку.

Татьяна Викторовна вконец растерялась от бестактности дочери, а еще больше от уверенных слов Володи о будущем их совместном житье с Ирочкой где-то у его родителей и оттого, как он спокойно называет ее дочь по-своему — Иришей.

«Значит, у них уже все решено, — горестно подумала Татьяна Викторовна, — и меня ставят перед свершившимся фактом. И уже ничего не изменить, потому что этот Володя, напоминающий чье-то телевизионное лицо, но не из постоянных, а так — виденное раз или два на экране, так вот он — не какой-то там влюбленный студент, сочиняющий юношеские стихи, а взрослый, уверенный в себе мужчина, которому пришла пора жениться и который решил жениться, и вот он идет к этой цели твердо и неумолимо». И на глазах у нее навернулись слезы, но они не заметили этого, потому что видели только друг друга.

Потом она добрых полчаса сидела одна на кухне и не решалась, ставить ли подогреть картошку с мясом, которая, кажется, удалась, как, впрочем, всегда ей удавалась, это было ее фирменное блюдо, а они в это время заводили в Ирочкиной комнате модные пластинки и, наверное, целовались.

Потом Володя хвалил ее картошку, а перед этим он достал из своего дипломата бутылку шампанского и бутылку какого-то неслыханно отборного армянского коньяка, и они выпили за знакомство: Ирочка — шампанского, а Татьяна Викторовна и Володя — коньяка, оказавшегося действительно весьма приятным на вкус. Причем Володя выпил рюмку не до конца и, заметив немножко удивленный взгляд Татьяны Викторовны, счел нужным объяснить:

— Я ведь хотя без пяти минут инженер-технолог коньячного производства, но сам практически непьющий. И, знаете, не чувствую себя от этого ущемленным.

— Да, мама, представь, — зашебетала Ирочка. — Мы с Володей были в ресторане, так он действительно заказал себе пятьдесят граммов коньяка. На него официант вот такие шары вытаращил. — И Ирочка показала, какими круглыми стали глаза официанта, когда он услышал Володин заказ.

То ли от коньяка, то ли от рассудительного Володиного голоса, его интеллигентных манер Татьяна Викторовна поуспокоилась и даже рискнула спросить:

— А как понимать это «без пяти минут инженер»? Значит, вы, Володя, заканчиваете институт. Какой же?

— Да, вот диплом только остался, — охотно отозвался Володя. — Я заочник. Сам из Еревана. А заканчи-

ваю московский пищевой. Знаете, столичная марка, она везде ценится.

От этих слов у Татьяны Викторовны сердце оборвалось: «Как? Так он еще и не москвич! Так это он, говоря о своих родителях, имел в виду Ереван. Это что же, Ирочка туда уедет?» И она с нервным смешком вслух повторила этот вопрос:

— Так вы что — намерены увезти Ирочку к себе в Армению? Она еще глупая девчонка, но вы-то должны понять, что ей нельзя бросать университет, ведь она только на первом курсе...

Тут Татьяна Викторовна поймала себя на мысли, что говорит так, будто вопрос об Ирочкином замужестве уже решен и осталось лишь обговорить детали.

— И потом, вы так мало знакомы. Вам надо как следует проверить свои чувства, обстоятельно все взвесить.

— Не вижу логики, — перебила Ирочка. — Сколько прикажешь нам проверять свои чувства? Может, двадцать лет? — Она повернулась к Володе. — Антоновы, мамины знакомые, прожили двадцать лет, а недавно развелись. Значит, чувство у них было непрочное. А мы с Володей как познакомились, в первый же вечер поняли, что созданы друг для друга.

— Не кипятись, Ириша, — строго сказал Володя. — Татьяну Викторовну можно понять. Ведь ты у нас единственная. Но заверяю вас, Татьяна Викторовна, — он уже обращался к ней и даже чуть привстал со стула, — вы никогда не пожалеете, что отдаете свою дочь за меня. Ирочка не бросит университет, она просто переведется в Ереванский. И там есть филологический факуль-

тет и романо-германское отделение. А жить, конечно, нам будет удобнее в Ереване. У нас свой домик. Я у родителей тоже е действительный сын, и они отдают нам весь второй этаж. Машины, правда, у нас нет, но если Ириша захочет, мы ее купим...

— Да разве дело в машине! — всплеснула руками Татьяна Викторовна.

— А машина, мама, если будет, ничего плохого в этом нет, — вставила Ирочка.

На этом разговор прервался, и чай пили в молчании, только Татьяна Викторовна, чтоб разрядить обстановку, похвалила торт.

Володя кивнул, принимая похвалу, и пояснил, что торт он выбрал именно такой, потому что знает, что Ириша любит, чтоб было больше крема.

Потом они ушли в кино на девятичасовой, а Татьяна Викторовна стала убирать со стола посуду, перемыла ее всю и только тогда, присев на табуретку у окна и глядя на грустные вечерние огни, по-настоящему дала волю слезам.

Такой зареванной и застала ее соседка Вера, пришедшая попросить, «если, конечно, найдется, горчицы, а то сделала студень, только без горчицы или там хрена, сами понимаете, не тот вкус». Но, выпалив с порога эту просьбу, Вера увидела, что Татьяна Викторовна недавно плакала и сейчас еле сдерживает слезы, горчица тут же вылетела из головы, и Вера стала обнимать Татьяну Викторовну и спрашивать участливо: «Что случилось? Что случилось?» И Татьяна Викторовна, которая не то чтобы недолюбливала Веру, скорее просто сторонилась соседки из-за ее всегдашней шумной навязчивости,

вместо того чтобы промолчать или отделаться ничего не значащим объяснением, непонятно для себя самой вдруг выложила соседке все: и то, что Ирочка решила выйти замуж, и что жених намного старше ее и сам армянин, и что собираются уехать они в Ереван

Вера слушала внимательно и постепенно сама начала всхлипывать. А когда Татьяна Викторовна закончила свой невеселый рассказ, запричитала:

— Ой, Танечка Викторовна, так судьба ж такая материнская! Ведь рано или поздно, а дочь замуж отдавать надо. Ой, этой разлуки не минуешь!

И вдруг оборвала жалобный речитатив, заговорила спокойно, рассудительно:

— А что он намного старше Ирочки, это и хорошо даже. Значит, нагулялся и теперь ее одну любить будет. И что с Кавказа — не расстраивайтесь. Значит, нужды она знать не будет. Там все обеспеченные. А ведь, наверное, еще и видный из себя.

— Да не очень, — вздохнула Татьяна Викторовна и вдруг вспомнила, кого же ей напоминал Володя. — Знаешь, Вера, похож он на бывшего чемпиона мира по шахматам. Фамилию вот только не могу вспомнить.

— Так на Петросяна, наверное, — подсказала Вера.

— Ой, нет, вспомнила, — Татьяна Викторовна даже обрадовалась. — На Михаила Таля он похож, вот на кого.

— Ну что же, значит, приятный мужчина, — с какой-то даже завистью вздохнула Вера. — Да они с Кавказа все симпатичные. Немудрено, что Ирочка без памяти в него втюрилась. У меня ведь, Татьяна Викторовна, первый тоже был армянин...

Хотя прошел уже год, как справила здесь новоселье Татьяна Викторовна, и первой, с кем познакомилась, была Вера, отличавшаяся редкой словоохотливостью, так что очень скоро Татьяна Викторовна знала, что Вере тридцать пять, что работает она в магазине «Галантерея», и, если чего надо, пожалуйста, не стесняйтесь, и что квартиру предоставили не ей, а мужу Серафиму Ивановичу, служащему в комитете профсоюза, что детей у них нет по причине неудачного аборта, что Серафим Иванович пьет редко, зато когда выпьет, теряет соображение и все рвется ехать к какой-то Люсе, но, отрезвев, кто такая Люся, не признается, и много еще чего из биографий самой Веры, ее мужа, ее родителей, подруг по работе узнала Татьяна Викторовна, но вот что Вера второй раз замужем, услышала впервые.

— Левоним его звали, по-нашему — Левой, — после небольшой паузы продолжала Вера. — Мне тогда, как и нашей Ирочке, только-только восемнадцать исполнилось, и я после курсов полгода как в магазине работала. В мужском отделе. Новеньких — тех в мужской, там дефицита меньше. В магазине как раз с Левой и познакомилась. Галстук он покупал. Полчаса, наверное, выбирал. Ну, это я сразу сообразила, из-за меня. Хочет, значит, со мной познакомиться и не решается. И он мне гоже в сердце запал. Высокий такой, стройный, с черными усиками и, конечно же, в ихней кепке. Знаете, такие большие, аэродромами их еще зовут. Наконец решил он и спрашивает: «Девушка, какие у вас планы сегодня после работы?» Я к тому времени эти «какие у вас планы после работы?» слышала уже не один раз: но вежливо, культурно всех отшивала, не дурочка, чувст-

вую, что без серьезных намерений спрашивают, а так, чтоб поматросить и бросить. Но тут вижу: понравилась я этому кавказцу по-настоящему. И он мне тоже. Что-то в них есть такое, перед чем, устоять невозможно...

Вера замолчала, видимо вызывая в памяти образ своего Левона, а потом, как-то даже не похоже на себя, поспешила закончить рассказ.

— В общем, сводил он меня в ресторан, не скупился там. В парке Горького погуляли, а на следующий день в загс заявление отнесли. Он все торопил. Командировка, говорит, у меня через десять дней кончается, а мы должны поехать ко мне в Самотлор уже как супруги. Тогда вроде не было этой выдержки в сорок дней или он сумел уговорить работников загса, только через неделю нас уже расписали. Я все эти дни прямо ошалевшая о счастья ходила. И подружки еще завидуют, счастливая, мол, какого туза отхватила. Я-то им говорила, что он с золотом дел имеет. Это вот сейчас, когда телевизор цветной каждый день смотришь, еще в курсе событий, а тогда-то я в общежитии жила, газет никаких не читала, все соображала, как получше замуж выйти. Лева, когда мне сказал, что он по черному золоту специалист, мне и в понятие не могло прийти, что так нефть называют, подумала, видно, сорт такой есть золота, наверно очень ценный, а Лева сам — ювелир. Я ведь такая доверчивая, и имя мое ну точно мне соответствует. Самотлор же этот — тогда о нем и не слышно было, а название самое что ни на есть кавказское. Да что там вспоминать, Татьяна Викторовна, приехала я в эту дыру, а через неделю собрала чемодан и распrostилась слевой навсегда. В следующий раз, сказала ему, когда с девушками знако-

миться будешь, кепку свою дурацкую снимай, чтобы их в обман не вводить.

Татьяна Викторовна невольно улыбнулась:

— А Володя Ирочкин, между прочим, не в кепке, а в шляпе был.

Вера приняла эти слова всерьез и стала успокаивать:

— Нет, что вы рассказали, можно не сомневаться, жених Ирочки в самый раз: и обеспеченный со стороны родителей, и сам специальность хорошую приобретает, и непьющий. А это Татьяна Викторовна, по нашим временам большая редкость. Я даже так скажу: пусть он и старше, и облысеет скоро, и живет в Ереване, лишь бы не пил.

Ирочка вернулась поздно, покрасневшая, оживленная и прямо с порога выпалила нетерпеливо:

— Ну, как, мам, тебе Володя? Правда, прелесть? Ах, я так в него влюблена!

— Ирина, давай поговорим серьезно, — умоляюще попросила Татьяна Викторовна. — Я понимаю, ты увлечена, но нельзя же терять голову. Подумай о своем будущем. Ведь это чудо, что ты учишься в университете. Это тебе как счастливый лотерейный билет достался. Там же все чьи-то дети. А ты была никто, с улицы, а поступила. Так надо дорожить этим счастьем...

— Ой, мам, завела свою любимую пластинку, — недовольно сказала Ирочка. — «Университет — такое счастье, потому что там все чьи-то дети». А вот твой Толик, например, сын обыкновенных родителей. Папа у него инженер, а мама врач, и даже не в Москве, а в каком-то подмосковном санатории, в Барвихе, кажется. Я

знаю: ты скажешь, что он старше меня и что не москвич. Но, между прочим, старше всего на тринадцать лет, а это нормально для брака. И Ереван, к твоему сведению, тоже столица.

Татьяна Викторовна молчала, подбирая слова, которые могли бы убедить дочь, наглядно показали бы всю глупость и легкомысленность ее решения, но слов таких не находилось, а все вертелось в голове «выпороть бы тебя», и Татьяна Викторовна не нашла ничего лучшего, как снова заплакать.

— Мама, это нечестно, ты давить мне на психику, — обиженно сказала Ирочка. — Но все равно ты меня не переубедишь. — И, чмокнув мать в лоб, пожелала ей спокойной ночи.

И эта ночь, да и следующие три или четыре останутся для Татьяны Викторовны одним из самых тяжелых воспоминаний. Ни валерьянка с пустырником, ни валокордин, которые принимала она перед тем, как лечь в постель, не приносили желанного сна. Только клала голову на подушку, сразу начинал крутиться многосерийный, вмещающий восемнадцать с лишком лет жизни, фильм под названием «Мать и дочь». В нем было много радостных эпизодов: и первый крик Ирочки, когда сестра подняла вверх, чтобы хорошо видно было мамаше, сморщенное красненькое тельце, и сказала громко: «Дочь!», и первые шаги Ирочка сделала не в комнате, а на полянке, в солнечной березовой роще, — они снимали тогда дачу в Валентиновке; и стишок, который она сочинила в три года: «дождик, дождик, дождик, лей, намочи меня сколей!»; и первая пятерка за рисунок, изображавший Красную Шапочку, — такой уморитель-

ный, жаль, не сумела его сохранить; и их совместные походы на каток — Ирочка каталась, а она стояла за заборчиком и гордилась, что дочь, пожалуй, лучше всех делает «пистолетик» и «ласточку», а когда падает, не плачет; и третье место на районной олимпиаде по английскому языку, это было уже в восьмом классе; и, наконец, поступление в университет, во что Татьяна Викторовна все никак не могла поверить, даже когда прочитала в списке принятых «Бычкова И. Д.», даже когда Ирочка торжественно показала ей новенький студенческий билет. Были в этом фильме, которому все-таки, наверное, больше подходит название «Дочь» или даже «Дочурка», и грустные моменты, прежде всего болезни дочери, случавшиеся срывы в учебе, несколько ссор по пустякам, когда она вступила в так называемый переходный возраст, но радостного было гораздо больше, и от этого, еще горше становилось на душе...

Володя приходил каждый вечер, всегда с цветами, пил чай, обстоятельно рассказывал о себе, о том, как прочно, надежно устроят они с Иришей совместную жизнь. Ирочка в это время смотрела на него восхищенными глазами, и Татьяна Викторовна все больше и больше убеждалась, что дочь действительно не на шутку влюблена, и незаметно для самой себя как-то примирилась с мыслью о скором замужестве Ирочки и только уговаривала их пожить в Москве, пока Ирочка не закончит университет, или хотя бы не перейдет на четвертый курс. Володя, бесшумно прихлебывая чай, кивал: «Я вас понимаю, Татьяна Викторовна», — и тут же приводил множество доводов, разумных и убедительных, в пользу своего плана на устройство семейной

жизни. В общем, сошлись на том, что на Май полетят в Ереван, и Татьяна Викторовна тоже, там подадут заявление, свадьбу же сыграют в июне, когда Ирочка сдаст экзамены за первый курс, а Володя как раз защитит диплом.

Это предложение, как догадалась Татьяна Викторовна, Володя предварительно согласовал с родителями, потому что начались звонки из Еревана и Володин отец Назар Ованесович, у которого по телефону голос был добрым и радушным, что соответствовало рассказам Володи о его чудесном характере, стал уговаривать ее, чтобы она обязательно прилетела с детьми, чтобы своими глазами убедилась, как хорошо будет ее дочери, и чтобы о свадьбе не беспокоилась, все расходы они берут на себя, и о приданом тоже, потому что лучшее приданое Ирочки — ее красота, ее молодость.

Татьяна Викторовна теперь все меньше вспоминала о трогательных эпизодах из дочкиной жизни и все чаще задумывалась о жизни своей, о том, как будет переносить свое одиночество, нагрянувшее к ней в сорок три года. Она несколько раз поймала себя на мысли о том, что не прочь возобновить знакомство с Яковом Борисовичем, инженером из Киева, приезжавшим в качестве толкача на их завод два года назад. Тогда она даже один раз сходила с ним в театр втайне от дочери, и он робко намекал ей, что остался вдов и что она вот тоже одинока, но Татьяна Викторовна, хоть Яков Борисович и был ей симпатичен, решительно оборвала все эти разговоры, потому что тогда у нее была ее дочь, ее свет в окошке, ее Ирочка. Яков Борисович потом звонил не-

сколько раз из Киева, но последний телефонный разговор состоялся меж ними чуть ли не полгода назад...

Зачастила Вера, и Татьяна Викторовна радовалась ее визитам, потому что поняла вдруг, что это хорошо, когда есть человек, которому можно поплакаться, излить свою душу. Вера всегда близко к сердцу принимала и ее воспоминания о детстве Ирочки, и ее сегодняшние заботы о предстоящей свадьбе, и ее невеселые мысли о будущем своем одиноком житье-бытье. Вера утешала, подбадривала, давала советы.

— Да не беспокойтесь вы о дочери, — в который уже раз убеждала она Татьяну Викторовну. — Ирочка у вас девушка с характером, образованная. Володя, помяните мое слово, у нее еще попляшет. Это вот меня, дуру некультурную, моему Левому легко было провести. Я ведь тогда деревня деревней была, хоть и опасалась многого, а доверчивость моя все сильнее оказывалась. Только Лева начал за мной ухаживать, такую историю я учудила. Девчонки из магазина во время перерыва о чем только не болтают, а я, дура деревенская, все слушаю, ума-разума набираюсь. И вот зашел у них разговор о том, какие маски для лица лучше. Одна какую-то сметанную делает, другая — из земляники, а Наташка, она и сейчас у нас работает, заявляет, что самую нежность коже придают огурцы.

Разговор-то зимой был, в феврале, и мне, конечно, и в голову не могло прийти, что речь идет о свежих огурцах. Перед работой поперлась на рынок, купила килограмм огурцов, да выбирала чтоб засол был получше, а вечером, перед тем как на свидание к Левону идти, сделала себе эту самую маску. Еле вытерпела — щипало

до невозможности. Лева посмотрел на мою красную рожу, удивился, но ничего не сказал. И про то, что от меня чесноком да укропом разит, гоже виду не подал. Так сильно любил, значит... Ну, а разве с Ирочкой может такая история случиться? Что вы, Татьяна Викторовна, не пропадет она, не горюйте! Давайте лучше о приданом подумаем. Я вот узнала, какие там обычаи в Армении. Свадьбу, точно, они берут на себя. Но приданое за невестой должно быть такое: по дюжине простыней, наволочек, пододеяльников и по дюжине нижнего белья.

— По двенадцать штук каждого! — не удержалась Татьяна Викторовна. — Это ж расход какой!

— Конечно, от пережитков это идет, — согласилась Нсра. — Но если нет такого приданого, то, бывает, семья жениха его покупает, только это уж тень на невесту.

— Нет, раз уж такой обычай, я Ирочке все, что положено, куплю, — твердо сказала Татьяна Викторовна.

Деньги у меня есть. (Деньги эти — четыреста рублей она по крохам собирала в течение года, экономя на всем и даже связав две кофточки на продажу, о чем Ирочка, естественно, и не догадывалась, чтобы купить на них себе шубу, а то в старом пальто ходить уже стало неприлично, хотя она и перелицевала его всего четыре года назад.)

До мая оставалось каких-нибудь десять дней, и Татьяна Викторовна во время перерыва стала наведываться и соседний универмаг, чтобы не прозевать, когда выбросят постельное белье, это такой дефицит, и ей повезло — она купила наволочки и простыни, остались пододеяльники. Нижнее белье для Ирочки ее не беспо-

коило, эту заботу взяла на себя Вера и даже обещала достать французские бюстгальтеры — вот-вот должны были их получить.

За этой беготней по магазинам Татьяна Викторовна и не заметила как-то, что давно уже не видела Володю, и что Ирочка перестала с ней говорить о предстоящей свадьбе, и что, когда бы она ни пришла, дочь уже дома, пока звонок из Еревана не открыл ей глаза.

— Что там случилось с детьми? — с тревогой спрашивал Назар Ованесович. — Звонил Володя и буквально плакал. Говорит, что Ирочка раздумала выходить замуж. Умолял, чтобы я попросил вас уговорить ее. Сам он стесняется.

— Первый раз слышу, что они поссорились, — искренне призналась Татьяна Викторовна. — Успокойтесь, думаю, это несерьезно.

Совсем недавно она была решительно против брака дочери, а теперь чувствовала себя неловко перед Володиным отцом, которого знала только заочно, но уже прониклась к нему уважением, кажется, чувствовала себя виноватой и перед Володей, у которого, что ни говори, а была масса достоинств, и эти достоинства начинали перекрывать и то, что он старше, Ирочки и что живет не в Москве.

Пришла дочь, и Татьяна Викторовна обрушилась на нее с упреками:

— Как же тебе не стыдно перед свадьбой устраивать сцены! Вы еще не помирились?

— Нет, не помирились, — сказала Ирочка.

— А когда помиритесь? — Татьяна Викторовна все еще не верила в серьезность случившегося.

— Никогда! — коротко отрезала Ирочка, но, увидев ничего не понимающие, испуганные глаза матери, сожалелась и, так уж и быть, объяснила причину разрыва:

— Мама, ты не представляешь, какой он оказался скучный и заурядный.

— Но ведь это несерьезно, — каким-то просительным, заискивающим тоном произнесла Татьяна Викторовна. — Вы ведь помиритесь, правда?

— Приговор окончательный и обжалованию не подлежит! — ответила Ирочка.

1981 г.

НАТАША

Воробья звали Наташа. Сам воробей, конечно, не догадывался об этом, и когда человек, лежавший ближе всех к подоконнику, на котором были рассыпаны хлебные крошки, тихо говорил: «Вот и Наташа прилетела», он никак не мог принять такого обращения на свой счет, хотя бы потому, что был мужского пола. Но Тихомиров, а это его койка размещалась у окна, никогда не мог отличить самку воробья от самца, сколько ни пыталась в далеком-далеком детстве мама показать ему их какие-то особые приметы.

Тихомиров находился здесь уже третью неделю. Диагноз ему поставили — «обширный инфаркт», однако, когда он на другой день, придя в себя, спросил, что у него, врач — сухопарая седая женщина в золотых очках — опустила определение «обширный». Но все равно

инфаркт был уже вторым, а больному еще не исполнилось и тридцати восьми, и поэтому лезли ему в голову разные невеселые мысли.

Их в палате было трое, и все сердечники. Койку у двери занимал толстяк, тоже с инфарктом и тоже лежащий, а посередине располагался ходячий пенсионер-гипертоник Иван Александрович. Это он и насыпал хлебные крошки на подоконник.

Дни стояли жаркие, солнечные, и балконная дверь была открыта до позднего вечера, Можно было так оставлять ее и на ночь, но сестра Таня строго отвечала на робкие просьбы: «Не хватало вам еще воспаления легких!»— и решительно закрывала балкон. Открывался он после завтрака санитаркой тетей Шурой, которая развозила еду. Тогда сразу и прилетали воробьи.

Сначала появлялся один. Он пикировал откуда-то сверху на балкон и там прыгал минуты две — чем он занимался на балконе, больные не видели. Потом воробей осторожно перескакивал в палату. Тихомиров старался в это время не шевелиться, но воробей каждый раз улетал, лишь только перескочив балконный порожек. Можно подумать, чего-то пугался. А на самом деле это просто был разведчик: он убеждался, что у «кормушки» спокойно, и летел звать всю стаю. Она находилась где-то совсем поблизости, потому что буквально через минуту слышалось веселое чириканье, и шесть-семь воробьев приземлялись на балкон. Потом они по очереди подскакивали к порожку и уже с него взлетали на подоконник.

Вели себя воробьи по-разному. Одни старались ухватить крошку побольше и тут же улетали. Другие, еже-

секундно оглядываясь, клевали все подряд. Третьи обязательно норовили отнять кусок у товарища, хотя рядом лежали очень хорошие ничейные крошки. Наташа была, пожалуй, самой робкой. (Автору все-таки вслед за героем придется называть воробья женским именем и соответственно согласовывать окончания.) Так вот Наташа прилетала всегда последней и подбирала крошки с краю, такие мелкие, что на них, видно, никто и не зарился. В потасовки она не вступала и, если видела, что кто-то из товарищей скачет в ее сторону, тут же улетаала, даже не пытаясь прихватить с собой облюбованный кусочек.

«Что ж ты такая трусиха, Наташа, — думал Тихомиров. — Ведь ты и ростом не меньше других и никак не хуже, чем они, — вон у тебя какой чудесный каштановый пушок на голове, и чирикаешь ты очень звонко. Откуда же у тебя этот комплекс неполноценности? Чего ты робеешь? Смело бери все, что сможешь взять, и то, что уже взяла, не отдавай без боя».

Но Наташа не слышала этих мыслей, потому что Тихомиров не решался произносить их вслух, боясь испугнуть птиц. Они очень быстро приканчивали угощение, и Иван Александрович добродушно ворчал: «Вот ненасытное племя! Два куса белого хлеба умяли за пять минут. Надо им на обед кашки, что ли, подсыпать».

Между завтраком и обедом воробьи наведывались несколько раз по одному, по двое, но, не обнаружив съестного, тут же улетаали. Вот так в одиночку Наташа за те две недели, что наблюдал за птицами Тихомиров, прилетела только сегодня, и он очень расстроился, что на подоконнике не завалилось ни одной крошки.

— Погоди немного, Наташа, — шептал он, — вот разрешат мне вставать, и я приготовлю что-нибудь вкусненькое персонально для тебя. Я, знаешь, не только толковый инженер, но и замечательный повар. Ты только прилетай, Наташа!

Но Наташа, чирикнув что-то обиженное, не дослушала и улетела. Потом после обеда прилетела, но уже вместе со всей стаей, и снова была последней, и снова достались ей какие-то крохи рисовой каши, которую Иван Александрович сначала перекладывал с тарелок в газетку и рассыпал на подоконнике лишь после того, как тетя Шура собирала тарелки и, похвалив больных: «Правильно, мужчины, посуда любит чистоту», уходила. Если же кто-то не доедал не столь уж обильную больничную порцию, санитарка долго выговаривала ему: «Ведь в этом пюре здоровье твое, как же можно от него отказываться».

Увозя грязную посуду на тележке, тетя Шура остановилась в конце коридора у столика сестры и в который раз поинтересовалась:

— Ну, что, к тому крайнему из седьмой палаты приходил кто?

— К Тихомирову? — переспросила Таня. — Нет, не приходил.

— Жаль мужика, — вздохнула тетя Шура. — А ведь та, которая его привезла, мне в приемном покое сказали, очень симпатичная дамочка. И он тоже видный из себя. Чего ж она его не навещает?

— Кто их знает, — равнодушно ответила Таня. — Он разведенный, а она ему не жена. Значит, не обязана.

А инженер Тихомиров лежал, не шевелясь, на своей жесткой койке и смотрел, как на подоконнике, уже оставшись в одиночестве, воробей Наташа доклевывала случайно уцелевшую после ее прожорливых сотоварищей рисовую крупинку.

1977 г.

ЛЮБОВЬ

Харитонов, как только приехал в санаторий, лишь закинул чемодан в палату и, не переодеваясь, сразу пошел выбирать маршруты для прогулок, которые намеревался делать ежедневно и не меньше трех часов. Когда проходил перед отпуском диспансеризацию, обнаружили у него в крови лишний сахар, и повторный анализ был плохим, так что врач осторожно намекнула на диабет, а причина болезни, не исключено, как раз в избыточных килограммах, которых набралось у Харитонova порядка двадцати, однако, впрочем, нервная руководящая работа тоже могла сказаться отрицательным образом.

И вот, шагая по расчищенной аллее, увидел он внизу, в ложбинке бегущих собак. Впереди, похрамывая, трусила довольно крупная, но худящая и какая-то вся несуразная коричневая сука — даже издали были видны ее длинные болтающиеся сосцы. За ней поспешали два кобелька. Один — светло-серый, лохматый, хвост загнут в кольцо — обнюхав спутницу, забегал сбоку и оттирал ее с дорожки в сугроб, надо понимать, таким образом заигрывая с нею. Второй — что называется, типичный дворняга без особых примет — явно не вышел росточком и вполне мог пройти под брюхом коричневой суки. Но коротышка был себе на уме. Как только, кудлатый сворачивал в сторону, освобождая тыл дамы, он тут же пристраивался к ней с весьма недвусмысленными намерениями.

Харитонов остановился, наблюдая за собаками, но сам в это время думал о другом: о том, что ему всего пятьдесят один, и вот на тебе, диабет, а с ним шутки плохи, нужны строгий режим и диета, только с этой чертовой работой исключается и то, и другое, а работу он не бросит, потому как какой дурак бросит такую работу, и вообще к другой он теперь уже не приспособлен. И тут его жалостливые мысли оборвал черный пес, который неожиданно выскочил откуда-то сверху, из сосняка, перемахнул аллею у самых ног Харитонова и в несколько прыжков достал бежавшую по ложбинке троицу. Он с ходу протаранил коротышку, который в этот момент занимал не очень устойчивое положение и поэтому отлетел метра на полтора. Пока коротышка, повизгивая, выкарабкивался из сугроба, черный пес вменился зубами в холку кудлатого и опрокинул его. Кудлатый на вид был помощнее противника, по почему-то не оказал никакого сопротивления и позорно покинул поле боя, присоединившись к своему малорослому товарищу. Убедившись, что поверженные соперники убираются восвояси, победитель обнюхал даму сердца — теперь Харитонову окончательно стало ясно: это из-за нее произошла стычка, — и побежал впереди, то и дело оглядываясь, как бы спрашивая: не быстро ли, не убавить ли шаг?

— Вот звери! — сказал мужчина в ватнике, подошедший сюда с минуту назад и так же, как Харитонов, молча наблюдавший за всем ходом сражения. — Одно слово, животные.

— На то они и собаки, — неопределенно заметил Харитонов.

Видя, что разговор поддержан, мужчина в ватнике оживился:

— Известно, собаки. Только от этого не легче. Главврач Лев Аркадьевич персонально наказал: тебе, говорит, Саша, поручается вести борьбу с бродячими животными. Это, значит, помимо моих прямых обязанностей: на мне, между прочим, кухня лежит, вся погрузка-выгрузка... Хорошо ему распоряжаться» а как, я спрашиваю, вести эту борьбу? Пострелять их — прав таких не имею. Для этого специальная служба в городе есть — пусть ее вызывают. Да и территория у нас не огорожена, а и был бы забор, собака всегда дыру отыщет. Вон той коричневой зафигачил я палкой, а она, хоть охромела, а все равно сюда бегают. Вот и борись с ними.

— Ну и пусть себе бегают, кому они мешают, — сказал Харитонов.

... К собакам до сих пор относился он равнодушно и никак не мог понять, когда знакомые, такие же, как и он, солидные, уважаемые люди, заводили разных той да эрдель-терьеров. Но вот, увидев сейчас этих бездомных цыган собачьего племени, вдруг проникся к ним жалостью, которая постепенно перешла на самого себя.

«Вот вы бегаєте, — думал он, — грызетесь. И я бегаю, и я грызусь. А чего? Зачем? Орден чтоб получить? (В связи с пятидесятилетием Харитонova наградили «знаком Почета».) Так его с собой в гроб не возьмешь, А здоровья, вот оказывается, уже и нету»...

— Ну, это, кто как смотрит, — возвратил Харитонova к теме беседы работник пищеблока. — Некоторые, особенно дамочки, жалуются, что своим лаем собаки

культурно отдыхать им мешают, а когда на глазах у всех занимаются сексом — по-нашему, догадываетесь, как это называется? — то страшно их конфузят. Они под ручку прогуливаются со знакомым отдыхающим, и тут, здрасьте-пожалуйста, такая натуральная картина.

Харитонов молчал. Ему как-то сразу не понравился этот навязчивый, явно опустившийся тип, щеголяющий интеллигентными словечками, услышанными, наверное, от курортников. И к тому же неприятно пахло от него дешевым крепленным вином. Саше, который действительно с утра уже слегка «принял», напротив хотелось поговорить, и он зашел с другого конца:

— А вы подледным ловом, случаем, не увлекаетесь?

— Да нет, не рыбак я, — нехотя ответил Харитонов.

— А то могу показать места, где клев с утра до вечера в любую погоду. Я ведь здешний. Вон на том берегу залива село, где раньше проживал. Летом туда только на лодке или в обход пятнадцать километров, а зимой по льду — полчаса всего ходу. Снасть, между прочим, могу рекомендовать свою. А полушубок и валенки вам в санатории обязаны выдать. Сейчас завхоз и его команда в них щеголяют, но, если поприжать, а то и ко Льву Аркадьевичу обратиться, выдадут, куда денутся.

— Спасибо, спасибо, да только в самом деле — я не рыбак, — с уже заметным раздражением сказал Харитонов, не зная, как избавиться от настырного труженика общепита. (Особенно злило его, что Саша распространял в морозном ядреном воздухе густейший алкогольный аромат, а вот ему, Харитонову, теперь ни-ни).

— Ну, ничего, — спокойно продолжил Саша, очевидно, не уловив оттенка неудовольствия в голосе собеседника, — значит, какой другой азарт имеете. — И неожиданно заключил. — Одолжите, товарищ отдыхающий, полтинник.

До Харитонова не сразу дошел смысл просьбы — столь резок был поворот в разговоре, но, уразумев, что от него требуется, он поспешно зашарил в карманах и нашел три двугривенных:

— Вот, пожалуйста.

— Да мне бы и полтинника хватило, чуть ли не с обидой протянул Саша. — Однако сорока копеек мало, а сдачи нет, так что беру все.

— Пожалуйста, пожалуйста, какой разговор! — успокоил его Харитонов.

Саше действительно достаточно было полтинника — именно столько стоил фужер портвейна в баре, который также входил в зону его обслуживания. Правда, допускался туда Саша исключительно с черного хода и не дальше подсобки. Буфетчица Тоня рисковала иметь неприятности от начальства, но портить отношения с Сашей не хотела, потому как мог он озлиться, и тогда самой бы пришлось ворочать тяжеленные ящики с бутылками. И потом. Тоня просто по-бабьи жалела Сашу. Говорят, считался он раньше у себя на селе знатным механизатором, в областной газете даже был запечатлен однажды, книжки любил читать, в вечернем техникуме учился, а вот сошел с круга. И совхоз его выгнал и жена. Кому ж такой алкоголик нужен! Правда, санитарка Поля, они с Сашей из одного села, объясняла, что запил-то Саша после того, как супружница хахаля на стороне за-

вела, а сейчас она вроде как по четвертому разу замужем. Так ли, по-другому, только ведь пацанка у них есть, дело ли ребенку без отца. И Тоня, наливая очередной фужер для Саши, горестно вздыхала и, очевидно из сострадания, уменьшала дозу граммов на двадцать...

Вот при каких обстоятельствах познакомился Харитонов с черным псом, его нескладной подругой и мало-симпатичным пьяницей Сашей. Потом целую неделю он не встречал никого из них, хотя прогулки, как и обещал себе, совершал регулярно и подолгу. Видно, Саша отвалил-таки собак от санатория, а сам, будучи исконно сельским жителем, предпочитал без крайней надобности не высовываться на мороз, а сидеть в тепле, хотя бы в той же Тониной подсобке. Поэтому, когда, завершая очередной послеобеденный моцион, Харитонов наткнулся на черного пса, он искренне подосадовал, что не прихватил ничего съестного, тогда как в первые дни, вставая из-за стола, обязательно завертывал в салфетку и клал в карман пару кусков колбасы или даже сосиску, надеясь приветить меньших наших братьев, но те все никак не попадались по дороге, и приходилось съедать припасы самому...

Остановившись метрах в пяти от человека, пес вопрошающе посмотрел на него.

— Честное слово, у меня ничего нет, — начал оправдываться тот, — я же не знал, что встречу тебя здесь.

Пес пренебрежительно махнул хвостом: на нет, мол, и суда нет, и стал деловито обнюхивать снег.

Что ни говори, а он был красив. Похож на овчарку, но чуть поменьше ее, и шерсть подлиннее — вся чер-

ная, только на груди белый треугольник да кругляшки бровей коричневые; пушистый хвост, заканчивающийся седой кисточкой, плавно опущен вниз, а это вроде бы свидетельствует о благородном происхождении. Харитонов совсем не разбирался в породах собак, но вот отложился в памяти когда-то услышанный разговор, что если задирает псина хвост трубой, значит, кто-то из ее предков согрешил на стороне.

Видя, что ему, кажется, нечего ждать от толстяка, пес собрался было уже бежать дальше, как вдруг услышал: «Эй, Джек!» Это имя ничего не говорило ему, но по интонации он понял, что обращаются к нему.

— Эй, Джек! — действительно закричал Харитонов, обнаружив в кармане пиджака кусок сахара. (В памятке для диабетиков, которую ему вручили в поликлинике, было написано, что больной обязательно должен иметь при себе что-нибудь сладкое на случай неожиданного приступа.) Почему он назвал пса Джеком, Харитонов не смог бы объяснить, просто надо было как-то его помянуть, но не станешь же кричать: «Эй, собака!».

Черный пес обернулся. Толстяк протягивал ему руку, на ладони лежал маленький кусочек еды — это он сразу учуял. Пес сел. Нет, к человеку он не подойдет, мало ли что у того на уме. Так он и сидел минуты две, не в силах сдержать слюни, которые помимо его воли вызывал вид съестного. Первым все-таки не вытерпел толстяк, он положил белую еду на землю и отступил на несколько шагов назад. Тогда пес, глядя не на сахар, а на человека — вдруг здесь подвох какой? — подошел к угощению, стал его тщательно обнюхивать. Ему был знаком вкус сахара. Это, конечно, не мясо, которое он

уже и забыл, когда ел в последний раз, и не хлеб даже, так баловство одно, но все-таки пища.

— Что же ты, Отелло этакий, — присев на корточки, ласково приговаривал Харитонов. — А, псина, слышишь? Что ж ты других собак обижаешь? Нехорошо быть таким ревнивцем...

Пес вдруг ощерился, зарычал, схватил сахар и, что есть духу, рванул назад по аллее.

— Красавице своей понес подарок, — услышал Харитонов над собой хрипловатый голос.

Харитонов смутился, ему было очень неловко, что его, взрослого дядю, довольно-таки тучного и как-никак занимающего определенный пост, застали разговаривающим с какой-то бродячей собакой.

Он встал и увидел того самого выпивоху грузчика.

— Как отдыхается? — для начала вежливо спросил Саша, который, кажется, снова не прочь был поговорить.

— Спасибо, не жалуюсь, — все еще злясь на себя за то, что ударился в сантименты, хмуро ответил Харитонов.

— Хорош, стервец! — протяжно вздохнул Саша, показывая в ту сторону, куда убежал черный пес. — Да только эта коричневая чума испортит его окончательно. Это я о той суке, из-за которой он тогда драку устроил. Он от нее ни на шаг. А я ведь было хотел его домой к себе взять. Так он, когда я ее, заразу, травмировал, чуть не загрыз меня, честное слово. Потому что любовь про-меж ними. До сих пор не может простить. У-у, сволочи!

— Ну, зачем вы так? — деликатно пожурил Сашу Харитонов.

— Они все тут беспризорники, все пятеро, — продолжал Саша, не обратив внимания на этот интеллигентный упрек. — Где-то в поселке живут, а где, никто не знает. Ребятишки их, известно, подкармливают да из отдыхающих кто. Пушистого, кудлатого такого, вы его видели, пацаны Пушком зовут, маленького — Шариком, а суку эту уродистую кличут Розой, но я ее коричневой чумой величаю — со смыслом, понимаете. Есть еще Альфа, складная такая белая собачонка, она с ошейником и считается вроде, что хозяйка ее массажистка Лидка Селезнева, но какая из нее, к черту, хозяйка — и домой собаку не пускает и конуры никакой ей не сделала, так, взяла для баловства, а потом бросила. Так я, будь кобелем, за этой Альфой бы приударил, а они, паразиты, все к Розке льнут, к чуме коричневой. Прямо как у людей. Та, смотришь, доска — два соска, а мужиков одного за другим меняет, а эта — все при ней, а в девках засиделась. Тут Саша сплюнул и помрачнел сразу.

— Ну, а этого черного пса как зовут? — поинтересовался Харитонов.

— А никто не знает, — ответил Саша. — Он у нас только осенью объявился. Туристы здесь неподалеку жили, пять палаток, на «Жигулях» приехали — они, видать, его и оставили. Субчики, вроде нашей Лидки...

На этом Саша разговор оборвал и, не попрощавшись, зашагал к тому крылу санаторного корпуса, где размещался бар...

Последняя встреча с черным псом произошла у Харитонova в день отъезда. Мороз выдался под тридцать, да еще вьюжило, и он решил сократить утреннюю прогулку: просто обойти разок-другой санаторный корпус

благо был тот немалых размеров. И вот, когда заворачивал к столовой, услышал лай. На площадке, где сгружали продукты и складывали пустые ящики, стоял грузовик, на дверце которого нарисован был синий крест и под ним полумесяцем выведено «Спецслужба». У основных посадок, отделенных от площадки снежной целиной, перечеркнутой собачьими следами, сидел черный пес и время от времени принимался лаять на машину.

«Вызвали-таки из города собачников», — с неожиданной грустью подумал Харитонов.

На крыльце дымили сигаретами трое. Еще издали узнал Харитонов Сашу по его неизменному ватнику, остальные двое, очевидно, работники этой самой спецслужбы, отличались внушительными и на редкость несуразными фигурами.

— Подходите, не стесняйтесь! — позвал Саша, заметив Харитонova. Однако в голосе его не было обычного энтузиазма, звучал он как-то вяло и равнодушно, хотя в воздухе явственно чувствовался запах, вроде бы долженствовавший свидетельствовать, что Саша находится в боевой форме. — Вот, — он показал рукой на грузовик, — заканчиваем ликвидацию бродячих животных.

Задний борт у грузовика был откинут, и Харитонов увидел, что у кабины лежат завязанные мешки, наполненные каждый на одну треть, а то и меньше, каким-то бесформенным грузом. Не сразу дошло до него, что в мешках собаки — никто в них не шевелился, не рычал, не лаял.

— Усыпили, — счел нужным объяснить более внушительный собачник, прочитав недоумение на лице у подошедшего и принимая его, очевидно, за санаторное начальство.

Харитонов перевел взгляд на представителей спецслужбы: издали показались они ему неестественно массивными лишь потому, что облачены были в ватные брюки, добротные полушубки, поверх которых были надеты задубевшие от мороза длиннополые брезентовые плащи с поднятыми капюшонами. Правда, один и без этого громоздкого наряда выглядел бы весьма впечатляюще. Толстое круглое лицо его так и выпирало из солдатской ушанки, туго стянутой тесемками на щетинистом двойном подбородке. Густые брови, нависшие над маленькими заплывшими глазками, нос, размерами с огурец, выращенный на семена, и такого же бурого цвета, надутые щеки, красные от ветра и мороза, заставили Харитонова с невольным изумлением подумать: «Ну и мордovorот!» Его напарник оказался совсем мальчишкой тщедушным и прыщавым.

— Не смогли мы словить этого кобелька, — как бы оправдываясь перед Харитоновым, сказал старший, кивнув в сторону черного пса. — Хитер больно. Те сразу на мясо набросились, а этот беду почуял, как ни приманивали, не подошел... Послушай, — повернулся он к Саше, — а может, вы, того... сами его ликвидируете? Я вот порошок оставляю, — он полез в карман брюк, вытащил небольшой белый пакет, — мясо им посыплете — у вас, смотрю, оно водится — ни запаха, ни вкуса, а когда уснет, тогда и...

Саша не дал Мордвороту договорить и, оттолкнув протянутую с пакетом руку, зло крикнул:

— Нет, уж сами морите, на то вы и живодерная служба!

— Чего это ты? — Мордворот, никак не ожидая столь резкой перемены в Сашинем настроении, видно отношения у них установились добрые, обиделся, засопел. — Не желаете, как хотите, только в другой раз не просите. Мы и сейчас-то в такую даль приехали, потому что ваш главврач лично к нашему начальнику обратился, чтоб в порядке исключения, значит. Ну, а раз так... — Он не закончил фразу и повернулся к напарнику. — Что, Андрюха, поехали? А то как бы к обеду не опоздать.

Харитонов поймал себя на том, что несказанно обрадовался, выслушав эту тираду. Значит, собачники уезжают, а черный пес, судьба которого, оказывается, для него совсем не безразлична, остается на воле. И довольный, что все заканчивается благополучно, решил сгладить Сашину грубость, сказать что-нибудь примиряющее, выказать даже интерес к профессии собачников, она, мол, тоже необходимая:

Так вы, товарищи, следовательно, не убиваете собак?

— Когда как, но в общем это нам не с руки, — охотно откликнулся Мордворот. — Живых-то мы в институты сдаем — соответственно, значит, надбавка полагается.

— А институтам они зачем? — удивленно спросил Харитонов, забыв и про академика Павлова и про Лайку с Белкой и Стрелкой.

Не для прогулок, известно, — пошутил Мордоворот (Андрюха так и поперхнулся от смеха) и потом уже серьезно разъяснил. — Лекарства на них разные испытывают, пока не подохнут, пересадки сердца там или почек делают, а то и пятую ногу к туловищу пришьют, сам на фотографии видел, — для баловства, наверное.

— Это называется эксперимент, — не удержался показать свою ученость Саша. — По-нашему: опыт.

Мордоворот принял Сашину реплику за знак примирения и, будто только что не произошло между ними никакого недоразумения, обратился к работнику пищеблока:

— А где тут у вас склад оборудования, начальство просило ящики какие-то захватить.

— Да вон за поворотом метров тридцать, — тоже смягчившись, сказал Саша. — Мимо не проедете.

— Тридцать метров всего? — переспросил Мордоворот. — Ну, мы тогда, Андрюха, борт закрывать не будем. Чай, не убегут?

— Ну, вы даете, Михал Андреич! — восхищенно гоготнул Андрюха. — Как же они в мешках побегут? Это ж аттракцион получится!

— Бывайте, значит, — простился Мордоворот и не спеша направился к машине.

Заурчал мотор, и грузовик медленно покатился по обледенелому асфальту, лишь кое-где для блезиру посыпанному песочком. Как только заработал мотор, черный пес, который до этого лишь время от времени подавал голос, залился истошным, злым лаем. Так, не переставая лаять, в несколько прыжков перемахнул он

снежную поляну и мимо Харитонова и Саши рванул за грузовиком.

Перед поворотом на дороге был, видно, ухаб, потому что машина сбавила и без того медленный ход и круто завалилась на правый бок, так что мешки сдвинулись к борту. Харитонову даже послышалось, что оттуда, из грузовика донесся тихий собачий визг.

И в этот самый момент черный пес, который уже бежал вплотную за машиной, прыгнул в кузов. Это был мощный, красивый прыжок. «Конечно же, его дрессировали», — невольно отметил Харитонов.

— Стой! — заорал Саша. — Стой, живодерная команда! — И, размахивая руками, побежал к машине. Не отдавая себе отчета в том, что делает, Харитонов устремился за ним.

Грузовик остановился. Из кабины высунулся Мордovorот и недовольно спросил:

— Ну, чего там?

— Запрыгнул, — задыхаясь от быстрого бега, кричал Саша, — пес к вам запрыгнул!

Мордovorот встал на подножку, заглянул в кузов. Подбежавшие Саша и Харитонов увидели, что черный пес обнюхивает самый большой мешок и тихо скулит. Потом он поднял морду и посмотрел на людей.

— Ишь ты! — крикнул Мордovorот. — Видно, и впрямь промеж ними любовь. Ведь как умоляет, чтоб отпустил подружку.

Харитонов понял, что Саша уже рассказал собачнику историю этой любви.

— А, может, действительно, их отпустить? — предложил он робко. Мордоворот взглянул на Харитонова, словно увидел его впервые, и спросил с сомнением:

— А вы кем здесь будете, товарищ?

— Да никем, — замялся Харитонов. — Просто отдыхающий,

— Что ж, гражданин хороший, могу и отпустить, — не без ехидства сказал Мордоворот. — Если вы их лично на воспитание возьмете. Гоните десятку — и вся не долга.

— Куда ж я возьму? Я приезжий, — совсем уж ступешевался Харитонов.

— А тогда и нечего говорить, — закончил разговор Мордоворот и, несмотря на свою громоздкость, довольно резво вскарабкался на грузовик.

Черный пес не сделал даже попытки убежать. Он только поскуливал и умоляюще смотрел в глаза Мордовороту. Тот снял рукавицу, быстро схватил пса за холку и, очевидно, нажал на какой-то известный ему нерв, потому что пес повис в его руке, как большая тряпичная игрушка.

Прыщавый напарник тоже залез в кузов и спросил:

— Помочь, Михал Андреич?

— Так любовь, значит, промеж ними? — ухмыльнулся Мордоворот. — Пусть тогда напоследок вдвоем побудут. Развязывай, Андрюха! — И он пододвинул ногой мешок, который обнюхивал черный пес.

— Ну, вы и придумаете, Михал Андреич! — восхищенно крутанул головой Андрюха.

... Ветер дул прямо в лицо, слезил глаза, и чтоб заслониться от него, Харитонов поднял воротник, нагнул

голову. Когда же выпрямился, собачники уже соскакивали с грузовика.

Теперь, значит, полный порядок! — удовлетворенно сказал Мордovorот, обращаясь к Саше.

Тот молчал.

— Ну, извиняй, чего не так! — развел руками Мордovorот и полез в кабину.

... Давно уже скрылся за поворотом грузовик, а Харитонов с Сашей все стояли посреди дороги.

Потом Саша сплюнул, крепко выругался и попросил у отдыхающего рубль.

1977 г.

НА ИСХОДЕ ЛЕТА

Начальник главка Борис Павлович Зайцев закрутил роман с экономистом планового отдела Натальей Алексеевной Иванченко. Об этом первой во всеуслышание объявила секретарша Бориса Павловича Тamarочка во время обеденного перерыва в буфете третьего этажа, где находилось в тот момент никак не меньше двадцати сотрудников, в основном женщин. Они-то и дали повод Тamarочке сделать это свое заявление, так как начали апеллировать к ней, что вот-де у соседей и колбаса «докторская» всегда есть, и огурцы свежие уже с неделю как дают, а у нас все из-под прилавка, и ты, Тamarочка, повлияла бы на начальство, чтоб дал он команду навести тут порядок, на что Тamarочка спокойно, но внятно ответила: «А начальству моему, между прочим, не до огурцов. Борис Павлович роман крутит с экономистом Иванченко». Тamarочка могла позволить себе вот так, на весь буфет высказаться, не взирая на лица, ибо сидела уже на чемоданах, собираясь ехать в молодую африканскую республику, куда на трехгодичный срок направляли мужа.

Таким образом, событие, о котором уже неделю шептались сотрудницы, из разряда «ни за что не поверю» перешло в «это следовало ожидать», из теоремы, требующей доказательств, — в аксиому, их не требующую. Словом, сплетня, как скептически думали некоторые, оказалась вовсе и не сплетней, а фактом общественной жизни, так или иначе затрагивающим интересы коллектива, а потому, естественно, нуждающимся в ос-

мыслении. Теперь при встрече сотрудники главка первым делом интересовались: «Как там разгорается наша пламенная любовь?», «Что новенького на сексуальном фронте?» и только потом уже переходили к традиционным пересудам

О квартальных премиях, потрясающем сервисе, который привезла из командировки Людмила Михайловна, о болезнях детей, очередном запое инженера Мельникова и других, оказавшихся теперь на фоне «роковой страсти» весьма заурядными, вещах.

Случались в этом главке романы и прежде (а в каком коллективе, где две трети — женщины, они не случаются?!), но те, хотя два, кажется, закончились даже разводами, ни в какое сравнение не шли с нынешним. Во-первых, уровень был не тот — самое высокое должностное лицо, о котором одно время ходил слухок, что оно позволило себе позволить», была всего-навсего главбух Людмила Михайловна. Во-вторых, совершала безрассудства исключительно молодежь, а Борису Павловичу шел уже пятьдесят шестой. (Это на лестничных площадках и без отдела кадров высчитали: пришел он в главк пять лет назад, сразу после того, как отметил свое пятидесятилетие еще на посту директора завода.) В-третьих, был начальник главка, что называется, до мозга костей служака, сухарь и педант, и всякие там «шурь-муры» с ним ну никак не соотносились, уж на что Тамарочка, чьи формы заставляли восхищенно причмокивать всех без исключения приезжающих в главк толкачей, и та признавалась: «Нет, вы представьте, он всегда ведет себя со мной так, будто я не женщина, а механический робот!».

И вот, несмотря ни на высокий чин, ни на солидный уже возраст, ни на казенно-угрюмый свой характер, закрутил Борис Павлович роман. Да какой! С цветами, с встречами по утрам па троллейбусной остановке, на которой она выхолила (а, между прочим, не только она), с бесконечными телефонными звонками, так что старшему экономисту Софье Александровне, на столе у которой стоял телефон, к концу дня порядком осточертевало снимать трубку и повторять: «Наталья Алексеевна, это вас. Все тот же приятный мужской голос». А Наталья Алексеевна, видно, совсем стыд потеряла, нет чтобы законспирировать, как принято в таких случаях, разговор, так она, напротив, специально назовет несколько раз имя: «Нет, не могу Борис...», «Если задержусь, жди, Борис, на нашем месте» (это, значит, как было быстро установлено, у входа в метро), «Так мы, Борис, сегодня в «Баку»?»... И все это игриво, кокетливо, как будто ей семнадцать лет.

— Совсем голову потеряли! — даже не осуждающе, а с каким-то недоумением говорила Софья Александровна, когда Наталья Алексеевна выходила из комнаты. — И как это у них любовь возникла? Ведь она в отделе уже третий год, и все это время он ее, как и нас, грешных, в упор не видел...

А возникла эта любовь так.

По традиции, начало которой было положено еще до прихода Бориса Павловича, ветераны войны, работающие в главке, накануне Дня Победы устраивали складчину.

Скидывались по десять рублей (с женщин — было их три фронтовички — денег не брали, но те прихватывали с собой квашеной капусты, соленых огурчиков, а то и грибков домашнего приготовления), закупали спиртное — исключительно водку, никакие вина в этот день не признавались, разную магазинную снедь, в два часа садились в автобус и ехали в свой пионерский лагерь, где накрывался в столовой один общий стол. Первую рюмку пили за Победу, вторую — стоя — за павших, тут фронтовички всплакивали немножко, потом тосты шли самые разные, и между ними вспоминали былое, но недолго, переключались на сегодняшние заботы, спорили, доказывали что-то друг другу, и почти каждый раз доходило дело до ругани, и тогда инженер Мельников доставал баян и начинал негромко «На позицию девушка провожала бойца», и песня всех примиряла. Потом пели «Землянку», «Эх, дороги», «До свиданья, города и хаты» и еще и еще. А под конец Мельников обязательно заводил пьяным тенорком «Выпьем за Родину, выпьем за Сталина!», и тут его обрывали и снова начинались споры, такие горячие, что малиновым звоном звенели ордена и медали, и фронтовички металась между мужчинами, успокаивая их. Наконец, это им удавалось сделать. Снова все садились за стол, выпивали еще по одной, собирались продолжать пение, но обнаружива-

лось, что баянист уже полностью отключился», тогда смотрели на часы и, удивившись: «как, уже пол-одиннадцатого?», поспешно собирались, грузили инженера Мельникова в автобус и возвращались в Москву.

Борис Павлович всю жизнь был решительным противником коллективных пьянок, но этой встречи не осуждал, всегда участвовал в ней, и потому, что сам прошел войну, да и потому, что традиция была заведена не им, а ломать устоявшийся порядок, если он не мешал делу, было не в его правилах...

Когда приехали в пионерлагерь, совершенно неожиданно обнаружили там пятерых сотрудниц, которые в счет субботника, по разным причинам ими пропущенного, мыли окна в домиках, где разместятся летом детишки. («Явная недоработка месткома», — отметил про себя Борис Павлович). Женщины были одеты по домашнему — в халатах и фартуках, спортивных брюках, ситцевых косыночках, и страшно смутились, когда увидели представительную делегацию во главе с самим начальником главка. Они поспешно закончили мытье, переоделись, собрали тазы и ведра, сложили их в кладовку рядом со столовой, попрощались и ушли уже, но тут начальник планового отдела Мирон Савельевич Тверской подкинул мужчинам, курившим, пока фронтовики сервировали стол, неплохую идею: «А что, товарищи, не разбавить ли нашу мужскую компанию? Вы, Борис Павлович, не возражаете?». Борис Павлович не возражал, и самые прыткие ветераны побежали вслед за женщинами, но привели только двоих: толстуху из второго отдела Крапивину и какую-то наоборот худень-

кую, которую Борис Павлович поначалу и не узнал во-все — в косыночке и коротеньком сереньком пальтишке она совершенно никого не напоминала из сотрудниц аппарата, и только когда сняла косынку и потрянула густой копной рыжих волос, он вспомнил, что, конечно же, не раз встречал ее в коридоре, да и на совещаниях, которые считал нужным регулярно проводить с коллективами отделов, она наверняка присутствовала.

— Это Иванченко. Мой кадр, — заметив взгляд начальника, шепнул ему на ухо стоявший рядом Тверской.

— Бабенка смазливая, но работник, прямо сказать, неважнецкий.

Потом было застолье, как всегда, шумное, неуправляемое, роль тамады пытался взять на себя Мирон Савельевич, но только два первых традиционных тоста прошли организованно, а дальше на разных концах стола стали наливать самостоятельно, не обращая внимания на призывы тамады.

Тверской, и за столом оказавшийся соседом Бориса Павловича, пил из большой оловянной кружки («с сорок второго года служит, цистерну, наверное, ею за это время перечерпал» — объяснил он, и Борис Павлович отметил, что, оказывается, его плановик очень компанийский, мужик). Пил Тверской как-то необычайно долго, словно смаковал водку, а сделав последний глоток, поворачивал кружку вверх дном, постукивал по ней легонько, приговаривая: «Пьем по-балтийски: ни капли не оставляем». Борис Павлович после первых двух «до дна» почувствовал, что пьянеет, и третий стограммовый лафитничек, наполненный заботливым тамадой, отпил лишь наполовину.

— Сразу видно артиллериста, — не преминул подковырнуть Тверской. — Фронтная интеллигенция. Не то что мы, морская пехота.

Уже чуть захмелевший Борис Павлович легко поддался на провокацию и, чтоб не осрамить бога войны, выпил до дна. Мирон Савельевич даже позволил себе хлопнуть соседа по плечу — среди собравшихся здесь не было в этот святой день ни начальников, ни подчиненных и одобрительно воскликнул.

— Вот это по-нашему. По-балтийски!

Борис Павлович время от времени присматривался к Тверскому и никак не мог взять в толк, в чем секрет, что его сосед — маленький, толстенький, типичный гипертоник — хлещет со всеми наравне, даже подначивает его и других, а сам ни в одном глазу, разве что шумлив. Только утром, анализируя свое поведение на этом вечере, догадался, кажется, почему так стоек был начальник планового отдела — пил-то он, прохиндей, из оловянной кружки, а сколько там себе наливал, никто не видел.

Потом как-то неожиданно на месте Тверского оказалась его рыжая подчиненная, и он представился ей, и это ее страшно рассмешило, но он очень серьезно объяснил, что хочет с ней познакомиться, и что это его вина как начальника и как мужчины, что он не представился ей раньше, и она снова расхохоталась — очень звонко и очень мило. Оказалось, что зовут ее тоже очень приятно — Наталья Алексеевна. И они сепаратно выпили за «наконец-то состоявшееся знакомство».

За столом было тесно, Наталья Алексеевна сидела совсем рядышком, и когда тянулась за сыром или огур-

чиком, которые он (перевелись джентльмены!) не догадался ей предложить, то чуть наваливалась на него, и тогда пробежала по его телу горячая дрожь. Но она, как ни в чем не бывало, продолжала что-то весело говорить, но он уже ничего не слышал, он мог только видеть, пораженный ее красотой. «Черт возьми! до чего же она хороша! — думал он. — И эти большие серые глаза, и этот капризный носик, и эти чудесные волосы, конечно, крашенные, но так точно подобрать цвет к лицу, фигуре — это же искусство. И как я мог раньше не заметить ее? Хотя последние два года эти постоянные корректировки планов вздохнуть не давали, не то что...»

Тут откуда-то уже с другого конца стола раздался разбитной голос Мирона Савельевича:

— Предлагаю тост за присутствующих здесь очаровательных женщин!

— Давайте выпьем на брудершафт! — чувствуя в себе какую-то мальчишескую храбрость, сказал он и посмотрел в ее лукавые серые глаза так откровенно, что не понять его было нельзя.

Наталья Алексеевна не отвела взгляда, шепнула заговорщицки:

— Давайте! Только поцелуй — потом.

— Не обманете? — спросил он, уже зная, что она не обманет.

— Нет, — все так же шепотом ответила она.

— Сейчас! — уже настаивал он.

— Я выйду первая, — совсем тихо сказала она, — и буду ждать у домика, который справа. Вы только не сразу, чтоб не обратили внимания.

— Хорошо, — успокоил он.

Они были убеждены, что их тайный сговор остался никем не замеченным, потому что все уже давно сгрудились вокруг инженера Мельникова и довольно стройно для такой большой компании, выводили «Землянку». Как потом выяснилось, конспирация была напрасной, ибо поведение начальника главка оказалось для всех крайне неожиданным, и потому ветераны, может, даже и неосознанно, фиксировали каждый его шаг...

Уже было довольно темно, и Борис Павлович не сразу увидел Наталью Алексеевну, а когда понял, что светлое пятно впереди это и есть она, не удержался, побежал. Она шла, не оборачиваясь. Он догнал ее, взял сзади за плечи, повернул к себе и поцеловал долгим поцелуем, как не целовал уже незнамо сколько лет, и почувствовал, что она отвечает ему.

Как они оказались в домике — он ли ее повел, она ли его, а вернее, что-то толкнуло их туда обоих сразу — Борис Павлович припомнить потом не мог, да и не особенно пытался.

2

Назавтра Борис Павлович проснулся в каком-то необычайно приподнятом состоянии духа. Он принадлежал к породе людей, сейчас почти уже начисто вымершей, у которых даже после самой сильной попойки по утрам не раскалывается голова, тело не становится вялым, не ломит в костях и желудок функционирует отменно. Впрочем, может, в этом и не было ничего особенного, так как выпить по-настоящему — не рюмочку-

другую коньяка при встрече с представителями зарубежных фирм, зачистивших в последнее время, а, что называется, до упора — он позволял себе лишь в свой день рождения, на поминках по друзьям да за пулечкой, которую раза два в год расписывали у зампреда райисполкома Александра Михайловича Метлова (третьим партнером был «видный профсоюзный деятель», как он себя с иронией называл, Евгений Иванович Вертель).

С удовольствием поворочав тридцать минут гантелями, Борис Павлович принял контрастный душ, побрился и, когда смазывал кремом щеки, ощутил их упругость, и с гордостью подумал, что он еще ничего и, наверное, это искренне ему дают не больше сорока восьми. «Есть еще порох в пороховницах!» — сказал он вслух и подмигнул в зеркале сам себе.

— Это ты, что ли, разговариваешь? — приоткрыла дверь ванной жена.

— Я, — улыбнулся Борис Павлович.

— Странно! — удивилась жена. — Вроде бы не в твоих привычках разговаривать с самим собой.

— Просто у меня сегодня хорошее настроение, — объяснил он.

— Завидую, — вздохнула жена, и через минуту он услышал, как в ее комнате звенькают пузырьки, — видно, решила принять лекарства.

Во время этого разговора с Ларисой — первого после того; что случилось вчера (вечером, когда он вернулся, она уже спала) — был Борис Павлович на удивление самому себе исключительно спокоен и совсем не терзался угрызениями совести.

За двадцать четыре года супружеской жизни Борис Павлович изменял жене дважды, и оба раза потом долго его жег мучительный стыд. Первый раз это случилось еще на Урале, в 55-м году. Был он рядовым инженером, и их, человек десять из цеха, послали на заготовку сена в подшефный колхоз. Там-то и соблазнила его томная бухгалтерша Нонна Викторовна, большая почитательница только что вторично открытого Ремарка. Романтическую Нонну, видимо, сразила его седина (а он в одну ночь поседел в декабре сорок четвертого, когда от их батареи в живых осталось только четверо). Что ж, Борис Павлович вполне подходил в герою ее романа: молодой, но уже много повидавший и перестрадавший.

— И..., — он сделал паузу, — попросите отдел кадров подобрать для меня личные дела всех сотрудников планового отдела.

Тамарочка это приказание приняла как должное и только потом, когда раскрылась во всей красе их любовь, сопоставив факты по времени, умозаключила: шеф знакомился с анкетными данными своей возлюбленной.

Когда через полчаса секретарша принесла личные дела плановиков, он действительно полистал для блезиру несколько из них, удостоверился, что во время войны Тверской служил на Балтике, в чине старшины второй статьи, но долго-долго читал анкету, заполненную экономистом Натальей Алексеевной Иванченко, время от времени комментируя ее про себя.

Женщина, которая позавчера стала его любовницей, родилась в Москве 12 марта 1939 года («значит, ей 38»), окончила в 1962-м году Плехановский институт,

после этого сменила шесть мест работы («многовато») и в 1975-м году («уже при мне») была принята в главк на должность экономиста. Отец — Овечкин Алексей Иванович погиб в 1943-м году, мать — Оболенская («почему это ей не понравилась фамилия мужа?») Ксения Кирилловна умерла в 1971-м году. В 1964-м году Наталья Алексеевна вышла замуж. Муж — Иванченко Святослав Леонидович, 1940 года рождения, работает художником по договорам («представитель чистого искусства»). Сын — Леонид Святославович, 1967-го года рождения («не сразу собрались, не то что мы с Ларисой») — школьник.

Борис Павлович некоторое время раздумывал над этими данными, не нашел в них ничего примечательного и такого, что бы могло объяснить позавчерашнее, снова вернулся к первой страничке, и тут глянули на него вопрошающе лукавые глаза, и обычное его рабочее состояние, в коем пребывал с утра, сменилось сразу каким-то беспокойством, дискомфортом, волнением. Он еще с минуту не решался назвать вещи своими именами, но потом махнул рукой и, считая себя противником сантиментов и красивых слов, констатировал грубовато: «кажется, втюрился».

Потом снова посмотрел на фотокарточку и совершенно явственно представил и эти глаза, строгие здесь, а там, в пионерлагере, такие озорные, и эти сжатые губы, а тогда они были податливыми, ищущими, ощутил вкус тех позавчерашних поцелуев. Но это продолжалось секунды, он осалил себя, приказал не распускаться, сказал тихонько: «Черт, угораздило на старости лет!», но не почувствовал в словах укоризны, даже скорее самодо-

вольство, еще раз приказал себе «не распускать слюни» и решительно отложил на угол стола все личные дела работников планового отдела.

Принявшись листать какую-то сводку, Борис Павлович внимательно смотрел на цифры, некоторые даже подчеркнул, но, убей бог, если бы его в тот момент спросили что это за сводка и почему он отметил эти цифры, он бы не смог ответить ничего вразумительного. Цифры расплывались в губы, глаза, рыжие волосы, и Борис Павлович понял, что просто так от этого наваждения не отмахнуться, что надо что-то делать, как-то действовать. И, осознав это, он сразу принял простое и правильное решение.

Взяв служебную книжечку с телефонами всех работников главка, он нашел фамилию Иванченко и позвонил ей по городскому.

— Слушаю, — сказал женский голос.

— Наталью Алексеевну можно?

— Одну минуточку, — трубку положили, и он услышал, как крикнули, — Наташа, тебя к телефону. Приятный мужской голос, но, кажется, не муж.

— Да, я слушаю, — это уже она.

— Это Зайцев, — сказал он. — Борис Павлович. Я бы очень просил вас задержаться сегодня минут на пятнадцать, пока все не разойдутся. Я буду ждать у подъезда в восемнадцать тридцать пять.

— Хорошо, — просто ответила она.

После этого разговора день покатился в заведенном режиме. Сводки, бумаги, которые не могли двинуться дальше без его подписи, два небольших совещания и бесчисленные разговоры по телефону. В семна-

дцать тридцать начальник главка сказал секретарше, чтоб она отпустила Сережу — сегодня он , и машина ему не понадобится. Тamarочку это несколько удивило, так как Борис Павлович разрешал себе и другим нарушать распорядок разве что в последние дни квартала, а ведь шел только май. Удивило, но не больше. Если бы Тamarочка могла тогда предположить, из-за чего задерживается начальник! А так ровно в восемнадцать пятнадцать она просунула свою головку в кабинет, пропела «До свидания, Борис Павлович!», получила в ответ обычный кивок и поспешила вниз. Через десять минут главк был пуст. Одним из своих достижений Борис Павлович считал как раз то, что при нем прекратились всяческие авралы и бдения, и установился четкий распорядок рабочего дня. Но странное дело, до него доходили разговоры, что правило «не надо засиживаться вечерами, но, будьте добры, отработайте восемь часов, как следует» далеко не всем пришлось по душе.

В восемнадцать тридцать начальник главка запер кабинет, прошел по пустынному коридору до лифта и спустился вниз. В вестибюле, кроме вахтера, тоже не было ни души. В восемнадцать тридцать пять он выходил из подъезда, по обе стороны которого красовались солидные черного мрамора доски с выписанным серебром названием ведомства, им возглавляемого. Борис Павлович огляделся по сторонам — Натальи Алексеевны не было видно. У него екнуло сердце: а вдруг опоздал, и она уже ушла? Но тут из дверей подъезда выпорхнула она. Стройная, рыжеволосая, в каких-то немислимо модных белых брюках.

Увидев ее, Борис Павлович сразу почувствовал себя стариком, но она улыбнулась весело, сказала очень просто, словно между ними давно уже все определено: «Вот и я», и как будто молодость вернулась к нему,

— Я хочу проводить вас домой, — сказал он и решительно взял ее под руку.

— А может, немножко погуляем? — кокетливо предложила она.

3

Наталья Алексеевна не случайно надела эти белые брюки, которые так вызывающе (по мнению соседок по комнате, расплывшихся, плохо причесанных, с вечно облупленным маникюром — и все это оправдывалось заботами о доме, муже, детях) подчеркивали стройность ее фигуры. Она знала, что она не красавица, но была убеждена, что красива по-своему, как, впрочем, и каждая женщина, только надо уметь подать эту свою красоту так, чтобы ее увидели, и Наталья Алексеевна в полной мере обладала таким искусством, которое называется женственностью, обаянием, изюминкой или как там еще.

Уже в домике пионерлагеря и потом в автобусе по дороге в Москву она женским своим инстинктом почувствовала, что для Бориса Павловича близость с ней никоим образом не означала очередной мужской победы, скорее это было для него поражением — он попал в плен к ней. «Каждый идеал заканчивается под одеялом», — любила повторять Люба, ее подруга со студенческих лет. Что ж, пусть это будет верно в 999 случаях из

тысячи, но в одном все происходит наоборот: лишь после того, как мужчина и женщина познают друг друга, и начинается собственно любовь, не в обыденном, кроватном, а в чистом, возвышенном, романтическом, если хотите, воплощении. И Наталье Алексеевне казалось, что она разбудила в Борисе Павловиче именно такую любовь, прекрасную и безрассудную, когда мир делится на две неравные части: большую — любимый человек и меньшую — все остальное. Она гордилась, что вскружила голову умному, деловому, немало повидававшему на своем веку мужчине, и ей хотелось, не отдавая даже себе в этом отчета, чтобы он как чудо воспринимал то, что она, молодая, стройная, чертовски очаровательная, позволила ему любить ее.

Быть любимым — историческая привилегия мужчины. Быть любящей — предназначение женщины. Так решалась проблема взаимоотношения полов в библиях, талмудах, коранах, домостроях. Но в наш безбожный век все больше женщин хотят быть любимыми, и все больше мужчин вынуждены быть любящими. К чести Натальи Алексеевны, стремление утвердить себя в их отношениях с Борисом Павловичем в качестве любимой, но совсем необязательно любящей, шло не от воспитания, не от высшего образования, не от внимательного, наконец, чтения дискуссионных материалов в «Литературной газете», нет, это у нее было, так сказать, врожденное или по-научному — заложено в генетическом коде.

В тот вечер они долго бродили по Москве, оказались даже в Сокольниках, зашли в какое-то кафе, где выпили бутылку шампанского, потом целовались на

скамейке, будто восемнадцатилетние, и все это время исходило от Натальи Алексеевны такое очарование, что Борис Павлович окончательно потерял голову. Когда в половине первого пришел домой, ему было решительно наплевать, что скажет Лариса. Но она уже, по видимому, спала, по крайней мере свет в ее комнате не горел, и он, чтобы не разбудить жену, не стал проходить на кухню, хотя чувствовал зверский голод, а сразу улегся спать. Сон долго не шел, и Борис Павлович, как не хотелось этого, стал думать о том, что же будет дальше, ведь чувство к Наталье Алексеевне, он знал себя, оказалось очень сильным и очень серьезным, наверное, последним в его жизни. И потому именно, решил он, оно такое сильное и такое серьезное.

Что ж, придется ломать жизнь, думал он, но не поздно ли на пенсионном рубеже? Нет, тем более надо ловить счастье. Это молодые могут подождать, а он, что обманывать себя, скоро, до обидного скоро станет стариком. И вот чудеснейшая женщина подарила ему любовь. Отвергнуть этот дар будет помимо всего прочего нерасчетливо, не по-хозяйски. (Борис Павлович был все-таки администратором, а характер работы, что ни говорите, во многом определяет, в какие слова облакаются мысли). Что ж, он не первый и не последний. Вон Метлов тоже недавно разошелся. Со скандалом, кажется. Но у того дети маленькие — в школе еще, а Светлана уже замужем, да и Николай на третьем курсе. Осудят, конечно. А впрочем, не в детях дело. Что он ходит вокруг да около, ведь никуда он не уйдет, пока у жены не прояснится все окончательно.

Полгода назад проходила Лариса очередную диспансеризацию, и обнаружили у нее небольшую опухоль. Положили в больницу, сделали операцию. Пустяковую, объяснил врач, это вещь весьма распространенная. Но жена перенесла ее плохо, заметно похудела и, наслушавшись, вероятно, разных бабьих разговоров, тем более соседний корпус был онкологический, втемяшила себе в голову, что у нее рак. Тогда-то она и перешла в бывшую Светкину комнату.

— Как ты можешь думать об этом, зная, что у меня? — с горькой укоризной сказала жена, когда он как-то попытался ее приласкать, и Борис Павлович, устыдившись, больше не давал повода для обидных обвинений.

Лариса помешалась на своей болезни, выдуманной, как уверяли врачи, но она настолько истово верила, что у нее неизлечимая форма рака и что ее просто утешают, скрывают от нее правду, что и Борис Павлович, который поначалу отнесся к этому, как к обычному женскому «бзику», засомневался, а может, и впрямь медицина ошибается, уж настолько очевидны были нездоровый цвет лица жены, ее прогрессирующая худоба. И он через друзей устраивал жену на консультацию сначала к какому-то доценту, а потом и к профессору, но и доцент и профессор, осмотрев Ларису, ничего не нашли, и повторные анализы, и повторные после повторных тоже не показывали никаких отклонений, а она, тем не менее, все худела и худела. «Обычный психоз, — констатировал профессор, — вашей жене надо нервы лечить». Когда он, обрадованный, сообщил это заключение медицинскому светилу Ларисе, она распла-

калась: «Не надо меня утешать» и потребовала, чтобы он больше не устраивал никаких консультаций, она сама знает, что ей делать. От Светки он узнал, что жена ходила к некоему физику-теоретику, который, хотя и не врач, но занимается иглоукалыванием и знает чуть ли не тысячу точек, тогда как наши лучшие специалисты не больше ста пятидесяти. Но физик не сказал ничего определенного, иглки ставить не стал, а порекомендовал делать салат из подорожника и пить настой из кукурузных рылец. Сейчас Лариса уповала на какие-то швейцарские чудо-таблетки, которыми поделилась с ней одна из больничных знакомых.

Конечно же, бросить жену, когда она в таком состоянии, об этом не могло быть и речи. Порвать с Натальей Алексеевной? Эта мысль показалась ему еще чудовищнее. Что же делать? Лгать, хитрить, изворачиваться? У него нет никаких навыков в этом. Лариса, конечно же, быстро все поймет. Так, ничего не решив, он заснул беспокойным сном.

Утром за завтраком, не дожидаясь расспросов жены, сказал первый:

— Вчера заезжал к Александру Михайловичу, засиделся у него.

— Преферанс? — скорее констатировала, чем спросила, Лариса.

— Нет, — он смутился (когда расписывали пулечку, Борис Павлович оставался у Метлова ночевать), — просто разговорились. — Он чувствовал, что слова его звучат неубедительно, и боялся поднять глаза.

— А может быть, у тебя завелась дама червей? — усмехнулась Лариса. — При такой жене, как я, это было бы естественно.

Не говори глупостей, — пробормотал Борис Павлович. «Надо было бы возмутиться, а я сказал так, будто признаюсь», — мелькнула мысль, и, чтоб исправиться, добавил поспешно. — Не веришь, позвони Александру Михайловичу, он подтвердит.

— Ты же знаешь, что я не унижусь до этого.

— У тебя, действительно, шалют нервы, — уже зло сказал он и тут же осудил себя за эту злость, понимая, что жена права.

Борис Павлович не стал пить второй чашки кофе, быстро надел костюм, взял портфель и ушел из дома на пятнадцать минут раньше обычного. Остановившись у дверей, чтобы сгладить неприятный разговор, хотел сказать жене что-нибудь примиряющее, но она опередила его, спросила с тем же ехидством:

— Спешешь к кому-то?

Вместо ответа он хлопнул дверью.

Если бы жена не произнесла этой последней фразы, Борис Павлович поехал бы сразу в главк, а так, «спасибо, что подсказала», попросил Сережу завернуть по пути на Белорусский. Там купил букет тюльпанов. Высадив начальника главка, как всегда, у самого подъезда. Сережа поехал дальше в гараж и в боковое зеркальце произвольно заметил, что Борис Павлович вместо того, чтобы войти в подъезд, пошел почему-то назад. Затем две сотрудницы, спешившие на работу, видели, как начальник их главка подал руку выходящей из трол-

лейбуса экономисту планового отдела Иванченко и вручил ей букет цветов.

Как и большинство замкнутых или, как теперь принято говорить, некоммуникабельных людей, был Борис Павлович по натуре пылок и сентиментален, а внешняя сухость, холодность его как раз и объяснялись тем, что стеснялся он этой пылкости и сентиментальности, потому и застегивал свои чувства на все пуговицы. Но, если, случается, выпадет на долю таких людей какой-нибудь жизненный удар немалой силы, будь то снятие с руководящего поста, крупный выигрыш по лотерее или, как в нашем случае, любовь, тогда подобно ореховой скорлупе раскалывается их внешняя оболочка, и является миру истинная сердцевина человека, и начинает он делать поступки, которые всем знающим его кажутся несообразными.

4

Наталья Алексеевна, когда после телефонной договоренности встретились вечером, однако уже не у подъезда, а у входа в метро, долго выговаривала ему за этот букет. Но в Бориса Павловича будто бес вселился.

— А пусть все видят, что я вас люблю! — с каким-то мальчишеским вызовом громко сказал он. — Я и не хочу скрывать. Хотите, я при всех вас расцелую. — И он чмокнул ее в щеку.

Наталья Алексеевна сделала вид, что рассердилась, тогда он пригрозил встать сейчас на колени, чтобы вымолить у нее прощение.

— Боже мой! — рассмеявшись, воскликнула она. — А всего пять дней назад я бы ни за что не поверила, Борис, что ты такой еще юноша.

— Правда? — уже серьезно, с надеждой спросил он.

— Правда, я не похож на старика?

— Какой ты старик?! — искренне улыбнулась она.

— Ты даже не юноша, ты просто мальчишка.

Наталья Алексеевна сразу же, с первого того вечера стала называть Бориса Павловича на «ты» и просто по имени. Он же продолжал говорить ей «вы». Потому, наверное, что, во-первых, боготворил ее, а при этом больше, конечно, подходит обращение «вы», а во-вторых, но в данном случае вряд ли это существенно, он вообще со всеми был на «вы», исключая разве жену, детей и двух приятелей, с которыми вместе начинал работать на заводе и которые объявлялись не чаще трех раз в пятилетку...

Потом они сидели в «Баку», и ее постоянно приглашали танцевать, а он не разрешал, но она все-таки пошла с каким-то молодым толстячком с пошлой физиономией, и когда пошлая физиономия снова пригласила ее, Борис Павлович устроил настоящую сцену ревности, и она поцеловала его и прошептала на ухо:

— Как приятно, что ты меня ревнуешь. Меня давно уже никто не ревновал.

Он рассказал про жену и после этого очень серьезно и торжественно сделал ей предложение, но просил отсрочки, пока все не определится. Это «определится» прозвучало как-то кощунственно, как будто он ждет смерти Ларисы, и Борис Павлович смутился. Но Наталья

Алексеевна все перевела в игру, сказала, что он ее устраивает больше как воздыхатель, ему это очень идет, когда же он женится, то наверняка заставит ее штопать носки и готовить обед, а она терпеть не может ни того, ни другого. Он продолжал настаивать, что это очень серьезно, что без нее он теперь не мыслит дальнейшей своей жизни. И тогда она тоже серьезно сказала, что пока еще рано о чем-нибудь говорить, что у нее, между прочим, есть муж, и хотя уже три месяца, как она выгнала его, потому что снова стал выпивать, но развестись с ним ей будет непросто, так как Леонид очень любит отца. Поэтому она просит не афишировать их любовь, сдерживать себя: ни ей, ни ему совершенно ни к чему лишние пересуды.

Но пересуды уже поползли по главку. Сережа своим наблюдением о странном поведении начальника поделился с Тamarочкой, те две сотрудницы рассказали о происшествии на троллейбусной остановке двум-трем приятельницам, а потом, как это ни прискорбно, не вытерпел кто-то из ветеранов, проговорился, что Борис Павлович, когда отмечали День Победы, всю ухлестывал за Иванченко, даже уходили они из-за стола куда-то на полчаса, но куда и чем там занимались, никто, естественно, выслеживать не стал. Ну, а когда Тamarочка сделала известное свое заявление, тут уж и вовсе стали говорить в открытую, замолкая разве при появлении Натальи Алексеевны. И то главбух Людмила Михайловна не удержалась, встретив Наталью Алексеевну в коридоре и поговорив с ней о том, что джинсовые костюмы уже выходят из моды, в заключение как бы без всякой задней мысли обронила:

— До чего ж, Наташечка, у вас удачный цвет волос. По-моему, он очень эффектно выглядел бы рядом с благородной сединой.

После этого Наталья Алексеевна и стала подчеркнуто повторять его имя, когда разговаривала с Борисом Павловичем по телефону.

Нельзя сказать, что сотрудники главка безоговорочно осуждали этот роман. Нашлось, конечно, несколько пуритан, но подавляющему большинству скорее было просто интересно, как он будет дальше развиваться и чем закончится. Мужская половина, почти единодушно признавая действия Бориса Павловича правомерными, потому как «эта Иванченко — аппетитный кусочек», считала его поведение не соответствующим служебному положению. Начальнику главка следовало бы, по их мнению, проводить любовное мероприятие более солидно. Женщины разделились на четыре лагеря. Одни считали, что Борис Павлович — жертва, и что Иванченко разрушит-таки его семью и женит его на себе, благо, своего пьющего мужа она уже выставила за дверь. Другие, напротив, полагали, что начальник главка еще покажет характер, не зря его называют железным канцлером, и что Наталье Алексеевне ничего не обломится. Тamarочка, поддерживая то ту, то другую сторону, главное видела в том, что Борис Павлович мог бы найти в своем коллективе и кого-нибудь поинтересней, а не эту мымру. И, наконец, Софья Александровна, которой так часто приходилось теперь снимать телефонную трубку, с легким вздохом говорила: «А мне кажется, девочки, у них любовь»...

Июнь стал их медовым месяцем. Лариса еще в конце мая перебралась на дачу, бросив на прощанье: «Хочу развязать тебе руки, раз ты не мог дожждаться...». Чего дожждаться, она не договорила, но это он понял по тону: конечно же, ее смерти. Николай со студенческим отрядом уехал в Псковскую область развивать Нечерноземье. Так что остался Борис Павлович дома один и мог теперь приходить когда заблагорассудится, ни перед кем не оправдываясь. Наталья Алексеевна тоже была одна. Борис Павлович с помощью Вертеля достал для Лени путевку в детский санаторий на все лето, а Святослав, слава богу, не давал о себе знать, может, уехал «на этюды» — так у них назывались работы по оформлению наглядной агитации для колхозов и совхозов, которые, между прочим, оплачивались совсем неплохо.

Встречались они на квартире у Любы, подруги Натальи Алексеевны, которая уехала в отпуск на юг. По поводу Любиного отъезда Борис Павлович по совету Натальи Алексеевны устроил ужин в «Арагви». Люба, пышнотелая, веселая, все понимающая дамочка, когда выпила немножко, стала говорить Наталье Алексеевне, не обращая внимания на его присутствие, что завидует ей, потому что Борис Павлович ни какой не старикан, как она представляла, а мужчина в самом соку, да и при высоком его положении, о чем же еще мечтать, и пусть Наташка не будет дурой. Бориса Павловича немного коробили такие откровенные высказывания, но Наталья Алексеевна очень умело и тонко обратила все в шутку, и вечер, в общем-то, прошел весело и приятно.

Теперь после работы они встречались у метро, шли в кино, или на какой-нибудь концерт или ужинали в ка-

фе, а потом ехали на Юго-Запад, где была Любина квартира. Чаще всего здесь и оставались на ночь, но иногда Наталья Алексеевна неизвестно почему настаивала, чтобы они вернулись по домам. «Хотя бы потому, чтобы убедиться, что нас не ограбили или не залили водой верхние жильцы, у меня уже было такое», — отшучивалась она.

Квартиру и не ограбили и не залили, но однажды, вернувшись с Юго-Запада домой, — хорошо еще Борису Павловичу не разрешила себя провожать, — застала Святослава. Он был в новом костюме, трезв, как стеклышко, не посмел спрашивать, почему она так поздно, сказал только виновато:

— Вот приполз. Не могу я без Лёни и без тебя, — и протянул ей целую пачку денег: — Завязал окончательно. Три месяца уже не пью.

Она хотела его выгнать, но почему-то не смогла.

И злясь на себя за эту слабость, за то, что она в который уже раз оставила у себя человека, пусть и официально считающегося ее мужем, но которого она уже давно не любит, больше того — презирает, Наталья Алексеевна перенесла эту злость на Бориса Павловича. И когда утром он встречал ее на троллейбусной остановке снова с цветами, она оттолкнула протянутый букет и устроила самую настоящую сцену.

— Я же просила, — едва сдерживая рыдания, громким шепотом говорила она ему, — не делать этого. На меня и так уже все тычут пальцами.

— Я не думал, что вы обидитесь, — оправдывался он и, как провинившийся ребенок, повторял: — Не буду. Честное слово, больше не буду.

— Не звоните мне несколько дней, — голос ее звучал сухо и отчужденно.

— Но почему, почему? — заискивающе спросил он, ошеломленный столь неожиданной переменой, происшедшей с ней.

Наталья Алексеевна ничего не ответила, ускорила шаг, и он сообразил все-таки, что если побежит сейчас за ней, то потеряет всякое реноме в глазах своих подчиненных, которые уже косяками спешили на работу.

Несколько дней не понадобилось. Придя с работы домой, она обнаружила, что от толстой пачки денег, которую вручил ей вчера Святослав, осталось только пятьдесят рублей, а через час позвонил он сам и, еле ворочая языком, сказал, что он в хорошей компании, и что теперь уже ему нет прощения, и пусть она не ждет его совсем и возвращается домой, когда захочет, и что пятьдесят рублей, которые он оставил, это алименты за Леню, а следующие он вышлет через месяц.

Наталья Алексеевна на редкость спокойно выслушала этот пьяный монолог, сказала мужу, чтоб он больше не звонил, и положила трубку.

Потом она долго сидела неподвижно и думала, какая она нехорошая и злая, что смогла из-за мерзавца, каким был ее муж, причинить боль человеку, который, она знает это, по-настоящему любит ее. И пусть у нее самой к нему совсем не такое сильное чувство, но он же нравится ей, она уважает его, она, наконец, сама стала его любовницей. Так какое же она имеет тогда право быть жестокой! И, искренне осудив себя, Наталья Алексеевна позвонила Борису Павловичу домой, попросила у него прощения, но он, никак не ожидавший этого

звонка, даже не смевавший мечтать о таком великодушии, принялся горячо убеждать ее, что уж, конечно, никоим образом не она, а именно он виноват в размолвке.

Разговор получался какой-то лихорадочный, несвязный, и он догадался попросить у нее встречи, сейчас же, сию минуту, и она тут же согласилась. Борис Павлович заехал за Натальей Алексеевной на такси, и они поехали на Любину квартиру. Там он клялся ей в любви, испуганно целовал ее руки, а она, глядя его седую стриженую ежиком голову, вдруг поймала себя на мысли, что восемнадцать лет это все-таки большая разница и что через четыре года, когда ей будет всего сорок два, он уже станет пенсионером. Она заставила себя отогнать прочь эту ненужную мысль и горячо, страстно ответила на его ласки.

Но это была, пожалуй, последняя счастливая ночь их любви.

5

Вернулась из отпуска Люба и тут же заболела. Так что они минимум в течение десяти дней не могли рассчитывать на то, что она будет, как обещала, если им понадобится, уезжать к своей матери. Борис Павлович предлагал встречаться у него («ведь я же сейчас один»), но Наталья Алексеевна решительно отказалась. Тогда очень осторожно он дал понять, что можно было бы проводить вечера у нее, на что она, явно стараясь уязвить его, ответила: «Не думай, что у меня не осталось никаких принципов. Пока я замужем, любовника в свой дом, поверь, не приведу».

— Как же быть? — спросил он. — Ну, давай пойдём в парк Горького, а завтра на выставку поедём, посидим в «Золотом колесе». А там и Люба выздоровеет.

— У Любы, между прочим, тоже есть своя личная жизнь, — зло сказала Наталья Алексеевна. — Не надо злоупотреблять ее добротой.

Они все-таки пошли в парк, но пробыли там недолго, потому что, как только сели на скамейку отдохнуть, рядом нахально устроились какие-то юнцы и стали орать что-то современное под гитару.

— Неужели ты не понимаешь, Борис, — не сдержалась она, — что эти паши прогулки выглядят смешно. Ну, вначале они, может быть, были пикантны, но надо знать меру. Ведь если посмотреть со стороны, то мы, извини, просто впали в детство.

«Дождлся, — горько подумал Борис Павлович, — она ведь намекает на мой возраст, это не «мы», а я впадаю в детство, это на меня смешно смотреть со стороны». Ему стало вдруг очень страшно, что Наталья Алексеевна бросит его, и он, потеряв всякую гордость, заискивающе стал уверять ее:

— Ну, не сердитесь, не сердитесь, я что-нибудь придумаю.

Теперь много времени отнимали у Бориса Павловича поиски способов, которые позволили бы удержать Наталью Алексеевну. То ему приходила счастливая идея вместе пойти в отпуск, и он начинал серьезно обдумывать, куда лучше поехать — на Рижское взморье или на Карпаты, но потом вспоминал, что отпуск отгулял еще в апреле и второго ему никто не даст. То представлялось, что Любину мать разбивает паралич и Люба теперь вы-

нуждена постоянно жить у нее, а свою квартиру отдает в их полное распоряжение. То вдруг ловил себя на том, что желает смерти жены, и тогда все решается очень просто, но тут он становился противен себе и поспешно начинал сочинять другие варианты избавления от Ларисы: она выздоравливает и ей неожиданно делает предложение сосед по даче Матвей Исаевич, а Лариса назло Борису Павловичу принимает это предложение и сама подает на развод, ему же только этого и надо.

Из-за этих глупых мечтаний он вынужден был теперь дела, которые раньше спокойно проворачивал за восемь рабочих часов, лихорадочно делать за четыре или пять, а это, естественно, вызывало нервные перегрузки, и он стал срываться, устраивать подчиненным разносы, что уж никак на него не было похоже.

Особенно неприятный разговор состоялся с инженером Мельниковым. На того пришла «телега» из вытрезвителя. Попадал туда Мельников не первый раз, года два назад Борис Павлович уже беседовал с ним по такому же поводу. Был тогда Мельников тише воды, ниже травы и слезно просил не принимать крутых мер, обещая, что ничего подобного больше с ним не произойдет.

Сейчас же, когда вызвал его начальник главка, Мельников вошел в кабинет с довольно-таки независимым видом и, не опуская глаз, понес какую-то ахинею, какую-то беспардонную ложь, что в вытрезвитель попал исключительно потому, что эти учреждения, как известно, переведены на хозрасчет, а заканчивалось полугодие, и им любой ценой нужно было выбить план, вот

они и забирали первых встречных. А у него, мол, чисто медицинский случай.

— Не валяйте дурака! — не выдержал Борис Павлович. — Вот здесь же черным по белому написано, что вас подобрали у продовольственного магазина, где вы лежали в бессознательном состоянии.

— Правильно, — нагло глядя в глаза начальнику, согласился Мельников. — Но это бессознательное состояние — последствие контузии головы, а не выпивки.

— Так вы хотите сказать, что и не выпивали вовсе! — возмутился Борис Павлович, чувствуя, что его дурачат.

— Почему не выпивал? — спокойно ответил Мельников. — Выпил немного шампанского.

— Что ж, теперь «на троих» шампанским соображают? — съязвил Борис Павлович.

— Почему это «на троих»? — благородно вознегодовал Мельников. — Я был в гостях у знакомой. Думаю, это не возбраняется? Я ведь человек разведенный, имею, как говорится, моральное право.

«Так он просто издевается надо мной», — понял Борис Павлович и, уже не сдерживая себя, перешел на крик:

— Бросьте ваньку валять! У нас уже с вами был разговор о вашей постыдной слабости (Борис Павлович, когда приходилось читать нотации подчиненным, любил брать на вооружение газетные формулировки). Вы тогда клялись, обещали, но, вижу, все повторяется. После Нового года такси ваши коллеги вызывали, чтоб вас увезти. Я уж не говорю о том, в каком состоянии вы были на праздновании Дня Победы...

Действительно, лучше бы Борису Павловичу об этом не упоминать, потому что поникший было Мельников тут встrepенулcя и с вызовом посмотрел на начальника. Во взгляде его без труда читалось: «Я-то, может, перебрал в тот день, конечно, но и нам хорошо известно, чем вы тогда занимались. А еще мораль читаете...».

Чтобы последнее слово осталось все-таки за ним, Борис Павлович поспешил закончить разговор.

— Учтите, больше бесед с вами не будет. Малейший срыв, и пишите заявление «по собственному желанию».

Мельников встал, направился к двери. Глядя на его сгорбленную, совсем старческую фигуру, лысину, обрамленную клочками седых волос, Борис Павлович почувствовал вдруг, что гнев пропал, и сказал вслед уходящему инженеру почти доброжелательно:

— Подумали бы, наконец, о своей судьбе. Ведь вам, наверное, вот-вот на пенсию...

Мельников обернулся. Его испитое, морщинистое лицо отнюдь не выражало раскаяния.

— Да, нет, — ухмыльнулся ехидно. — Мне до пенсии еще столько же, сколько и вам, Борис Павлович. — И вышел, подчеркнуто аккуратно затворив за собой дверь.

А буквально через два дня после этого разговора Борис Павлович, просматривая предложения отделов, кого они считают достойными министерской премии за досрочное освоение производственных мощностей на подведомственном главку крупном сибирском объекте, обнаружил в списке фамилию Мельникова. Сначала он

даже не поверил глазам своим. Но точно: Квирикашвили в число трех (так выпадало по разнарядке) поощряемых сотрудников включил и Мельникова В. И. Это уж слишком — потакать пьяницам. И Борис Павлович по селектору (пусть всем в назидание будет!) вызвал Квирикашвили:

— Сергей Константинович! Как понимать, что вы выдвигаете на премию инженера Мельникова? Разве вам неизвестен последний инцидент с ним?

— Слышал, — каким-то неестественно рокоchущим басом ответил Квирикашвили.

«Надо дать указание связистам, чтоб отрегулюровали аппаратуру», — отметил про себя Борис Павлович и продолжил в том же суровом духе:

— Так, какого же... — Он хотел сказать «черта», но смягчил выражение, — какого же лешего включили его в список?

— Понимаете, Борис Павлович, — Квирикашвили перешел на обычный свой тенор, — Владимир Иванович по-настоящему большой вклад внес...

— Это вырезвитель вы считаете вкладом?! — перебил начальник главка.

— Нет, — снова забасил Квирикашвили. — Ту идею, помните, что сэкономила нам три недели, инженер Мельников предложил. Вот я и счел возможным...

— Добреньким хотите быть, Сергей Константинович? Я, значит, провожу здесь с Мельниковым душеспасительные беседы, а вы ему премию на опохмелку. Нет, не получится. Я Мельникова из списка вычеркиваю.

Квирикашвили, заикаясь, пытался что-то пророкотать, но Борис Павлович бросил короткое: «Все! Разговор окончен!» — и отключил связь.

Успокоившись, Борис Павлович пришел к выводу, что «тот дурацкий разговор по селектору (его-то голос тоже, наверное, звучал пародийно) совершенно ни к чему было устраивать, что начал он в последнее время дергать подчиненных и что это никуда не годится. Потом мысли, как все чаще стало с ним случаться, перескочили на ухудшающиеся — не по его вине, а почему все-таки? — взаимоотношения с Натальей Алексеевной. Тут на глаза попался злосчастный список премируемых, из-за которого он сорвался сегодня, и Борис Павлович подумал вдруг, а почему в нем нет Натальи Алексеевны, и раз он вычеркнул Мельникова, то надо заменить его кем-то и почему бы не Натальей Алексеевной. Пусть она еще раз удостоверится, как он ее любит. По внутреннему позвонил Тверскому:

— Мирон Савельевич, тут вот появилась возможность еще одному сотруднику вашего отдела дать премию. Помнится, вы говорили, что экономист Иванченко у вас неплохо работает. Не возражаете против ее кандидатуры?

Мирон Савельевич долго молчал, соображая, когда это он говорил, что Иванченко неплохо работает, потом нашел дипломатичный ответ:

— Если угодно, у меня есть и другие кандидатуры.

— А эта, следовательно, вас не устраивает? — в голосе начальника главка слышалось неудовольствие.

— Нет, почему же? — поспешно ответил Тверской.

— Вот и хорошо. Значит, я ее включаю на премию. И Борис Павлович над жирно вычеркнутой красным карандашом фамилией Мельникова В. И. размашисто написал «Иванченко Н. А.», вызвал Тamarочку и попросил ее перепечатать список.

6

Наталью Алексеевну он не видел уже четыре дня. По телефону переговаривались, но отвечала она сухо, односложно и его просьбы встретиться отвергала под разными предлогами: то ей надо навестить Любу, а он будет только мешать, у них свои женские дела, то решила устроить стирку, а на субботу отложить не может — поедет навещать Леню, то просто у нее раскалывается голова и надо как следует отдохнуть. Вот и сегодня неожиданно объявилась одна знакомая по прежней работе и обещала привезти французский журнал мод, так что со звонком убегает домой.

— А завтра? — с надеждой спросил Борис Павлович.

— А на завтра я взяла отгул, — сказала она как бы между прочим, давая понять, что, хотя и не обязана отчитываться перед ним, но, пожалуйста: тайн у нее от него никаких нет. — Так что завтра ты не звони.

«Нет, нельзя допустить, чтобы так все закончилось, настраивал он себя. — Надо предпринять что-то решительное, доказать ей, что меня нельзя бросать, что, наконец, глупо бросать. Только бы нам снова побыть наедине, и я найду слова, которые ее убедят».

В том растрепанном душевном состоянии, в котором пребывал сейчас, нечего было и думать о редактировании докладной в Госплан, и Борис Павлович стал просматривать газеты. В одной бросилась ему в глаза заметка о том, что в Подмосковье уже пошли грибы, и он мечтательно подумал, как хорошо бы побродить сейчас по лесу с Натальей Алексеевной. Борис Павлович еще раз позвонил ей и уговаривал поехать завтра в лес («читали — начался грибной сезон?») с такой мольбой, словно решался вопрос о жизни и смерти. После долгих колебаний она сдалась. Договорились встретиться в девять часов у касс и Савеловского вокзала (сын как-то обронил, что это самая грибная и самая малолюдная линия).

Секретарше Борис Павлович сказал, что завтра будет на работе к концу дня или вообще не придет — с утра надо в Госплан (благо там действительно проводилось совещание, на котором его присутствие было полуобязательным), после обеда — в райком, а оттуда — в поликлинику. Но пусть Тamarочка обязательно фиксирует все звонки.

По дороге домой Борис Павлович заехал в спецбуфет за продуктами, взял сырокопченой колбасы, по баночке икры, полкило балычка, ветчины, сыра, свежих помидорчиков и огурцов и полуторакилограммовую корзиночку земляники. Когда загружал холодильник, обнаружил, что и «Посольская» и виски стоят уже початые, так что пришлось идти в ближайший гастроном и брать «КС» — лучшее, что там нашлось.

Проснулся Борис Павлович ни свет ни заря и сразу, даже не сделав зарядки — «в лесу разомнись», начал

готовиться к походу. Достал с антресолей свой рюкзак, который пылился там с зимы, последний раз брал его как-то в феврале, когда ездили с Николаем на дачу, ходили там на лыжах; плащ-палатку — очень удобная вещь: и скатерть, и постель, и на случай дождя; спортивный шерстяной костюм и кеды. Потом стал загружать рюкзак провизией. Хлеб, сыр, ветчину, балык, полбатона колбасы аккуратно завернул в фольгу, огурцы и помидоры вымыл и определил в целлофановые пакетики, а землянику — в литровую банку, которую закрыл пластмассовой крышкой. Еще приготовил душистый цейлонский чай и залил им трехлитровый китайский термос. Все равно вместительный рюкзак даже с уложенной в него плащ-палаткой оказался заполненным лишь наполовину, и тогда Борис Павлович добавил банку зеленого горошка и банку кабачковой икры, которые обнаружил в холодильнике. Но и после этого он еще некоторое время колебался, не захватить ли еще чего-нибудь, вдруг на свежем воздухе у Натальи Алексеевны разгуляется аппетит, а сам-то он поест всегда горазд.

На Савеловском, как ни заставлял себя не спешить, был Борис Павлович в половине девятого. Наталья Алексеевна приехала аккуратно, как договаривались. Ее наряд — яркая цветастая блузка, коротенькая юбочка, теннисные туфли и белые носочки — хоть утро стояло теплое и солнечное, был далек от туристского стандарта. И только легкомысленная белая панамка указывала на то, что Наталья Алексеевна действительно собралась на загородную прогулку.

Этой линии ни он, ни она не знали, поэтому решили ехать наугад до станции с непонятным названием Катуар. Несмотря на будний день и не «пиковые» часы, народ в вагоне был, и, чтоб не смущать чужих ушей, выяснение отношений, чем сразу же хотел заняться Борис Павлович, отложил он на потом, хотя так и подмывало засыпать ее упреками. Поэтому всю дорогу молча смотрели они в окно, думая каждый о своем.

Когда сошли с электрички и пошли, чтобы не заблудиться, прямо на солнце, приступил было Борис Павлович к решительному разговору, но Наталья Алексеевна сказала, что если он затащил ее сюда с целью испортить ей настроение, то лучше сразу же вернуться в Москву, ее там ждет масса срочных дел, которые она отложила исключительно ради него.

Потом она взяла его за руку, сказала нарочито строго: «Прекрати немедленно хмуриться!», и он, почувствовав ласковое пожатие, понял, что и на самом деле глупо выяснять отношения, когда она снова добра с ним, да и вообще глупо быть мрачным и злым, когда так щедро светит солнце, так звонко стрекочут кузнечики, так приветливо под легким ветерком кивают своими нежными головками колокольчики. Они вошли в березовую рощу, точь-в-точь такую же просторную и солнечную, как у Куинджи, и Борис Павлович явственно услышал, как что-то тихонечко шепчут друг другу деревья. «Нет, решительно невозможно быть в плохом настроении посреди этой красоты, которая называется лесом», — философски подумал он. Наталья Алексеевна будто прочитала его мысль и воскликнула благодарно:

— Какой же ты молодец, Борис, что вытащил меня сюда. Здесь так хорошо!

Он нагнулся, хотел ее поцеловать, но она вывернулась и сказала капризно:

— Разрешу, когда найдешь гриб. Ведь ты же утверждал, что нас ждет масса грибов.

Да, газета явно поторопилась объявить грибной сезон открытым. Наверное, уж целый час ходили они по лесу, но не встретили даже ни одного мухомора или поганки, да и ни одного грибника, а это уж явная примета, что время для грибов еще не пришло. Но, наконец, Борис Павлович углядел-таки какую-то золотушную сыроежку, закричал, как мальчишка: «Ура! Нашел!» — и, когда подбежала к нему Наталья Алексеевна, легко поднял ее, взяв за талию, и поцеловал в смеющиеся губы. Тут же был объявлен привал.

Место для привала Борис Павлович выбрал чудесное. На краю полянки две ели и небольшой стожок сена отгородили укромный уголок. Из этого стожка Борис Павлович взял охапку, отчего стожок уменьшился наполовину, и устроил что-то вроде ложа для Натальи Алексеевны, накрыв сено одной полкой плащ-палатки. Другая же послужила скатертью, и на нее была выложена вся снедь. Наталья Алексеевна заявила, что у нее чертовски разыгрался аппетит, и с удовольствием уминала и балык, и ветчину, и даже кабачковую икру, которая пошла как гарнир. Они выпили коньяка (Борис Павлович предусмотрительно прихватил для Натальи Алексеевны серебряный стаканчик, к сам в качестве рюмки использовал крышку от термоса) и поцеловались, и когда целовались, не заметили, как опрокинули бутылку, и почти

весь коньяк вылился. Но ни ему, ни ей не стало жалко потери. Они и так были пьяны от волшебного света солнечных берез, дурманящего запаха свежего сена, призывного щебетанья каких-то птах.

Когда закончили обед, Борис Павлович быстро и аккуратно собрал оставшуюся провизию, уложил ее в рюкзак, потом, отломив ветку у елки, стряхнул ею хлебные Крошки с плащ-палатки и присел рядом с Натальей Алексеевной. Она лежала на спине, закинув руки за голову, смотрела, ни о чем не думая, как тихо колыхнутся листья на березе. Когда он наклонился над ней, заглянул вопрошающе в ее глаза, она закрыла их в знак согласия и отдалась ему легко и радостно.

Борис Павлович сжимал упругое молодое тело, ловил губами ее полуоткрытые губы и чувствовал в себе какую-то неизбывную силу. Наталья Алексеевна испытывала давно не испытываемое блаженство, и с благодарностью отдавала ему всю себя, и в этом отрешении от самой себя была счастлива. Мужчина, которого она сейчас так самозабвенно желала, был не Борис Павлович Зайцев, начальник главка, это был просто Мужчина. А она была не Наталья Алексеевна Иванченко, а просто Женщина, полномочная представительница всех бывших, настоящих и будущих женщин. И они соединились вместе, Мужчина и Женщина, чтобы сотворить великое чудо — Любовь.

Неизвестно сколько времени пребывала она в этом блаженном состоянии, но вот Борис Павлович чуть сдвинул её с плаща, и какой-то стебелек уколол ее. Она попыталась избавиться от гадкой травинки, однако Борис Павлович это вынужденное ее движение растолко-

вал по-своему, и, увлеченный, еще сильнее прижал ее, и противный стебелек уколол ее еще больнее. Она попыталась дотянуться до него рукой, но опять Борис Павлович помешал, все никак не понимая, что ей что-то причиняет неудобство. Наталья Алексеевна вдруг страшно разозлилась на него за эту дурацкую непонятливость, и желание тут же пропало.

— Что случилось? — испугался он, не чувствуя за собой никакой вины, но понимая, что он в чем-то виноват.

Наталья Алексеевна молчала, дергаными, злыми движениями застегивала блузку, разглаживала юбку, потом сказала сухо:

— Ничего, собственно, не случилось. Просто я поняла, что глупо было соглашаться на это лесное приключение. Поймешь ли ты, наконец, что мы уже вышли из того возраста, когда, взявшись за ручки, бегают по лесу, а потом валяются на лужайке?

— Но разве было плохо? — робко спросил он.

— Мне было бы гораздо лучше, — ответила она, — если бы мы находились в обычной квартире, где я бы смогла принять душ.

После этой сцены ни о каком продолжении прогулки не могло быть и речи. Борис Павлович хорошо ориентировался в лесу, и через какой-нибудь час они уже выходили к станции. Как раз показалась электричка, и Наталья Алексеевна побежала, чтоб успеть, и он понял, что ей тягостно даже лишние полчаса остаться с ним наедине. Увидев их, машинист задержал отправление, так что они смогли вскочить в первый вагон. Он был

полностью оккупирован пионерами, которые, очевидно, возвращались в свой лагерь с экскурсии.

Борис Павлович закинул заметно похудевший рюкзак на полку и хотел было обратиться к пионерам, что, мол, тимуровцы должны уступать место взрослым, но его опередила белобрысая девчонка, которая прибежала сюда

С другого конца вагона специально для того, чтобы ткнуть кулаком в бок сидевшего с краю упитанного мальчишку, напряженно уставившегося в окно, и громко прошептать: «Салимхин, не видишь, что дедушка стоит?!» Салимхин нехотя поднялся, за ним встали и остальные, и оказалось, что весь отряд выходил на следующей станции.

«Вот выскочка! — неприязненно подумал о девчонке Борис Павлович. — Нет чтоб просто сказать, что пора выходить, она свою активность продемонстрировала».

Но, оказалось, досадовал он напрасно. Потому что, когда ребятня высыпала из вагона и они остались в нем буквально одни, Наталья Алексеевна слегка прижалась к нему, как бы предлагая мир, и лукаво улыбнулась:

— Теперь я знаю, как лучше всего называть тебя: деду-ля.

Конечно, она шутила, но шутка показалась ему немного злой, и все-таки он обрадовался, что хоть так, пусть даже обижая его, Наталья Алексеевна возвращает ему свое расположение.

Прослышав, что начальника главка сегодня нет, к Тamarочке заглянула Людмила Михайловна, спросила, скосив глаза на дверь кабинета:

— А где наш Ромео?

— Сказал, что в Госплане, — ответила Тamarочка и отложила в сторону вязанье, догадываясь, что главбух заявила не просто так, а наверняка принесла интересные новости.

— Может, он и Иванченко с собой в Госплан захватывает? — усмехнулась Людмила Михайловна. — Что-то она тоже сегодня не вышла на работу. Или это просто совпадение?

— Вообще у них в последние дни какой-то разлад, — поделилась Тamarочка. — Софья Александровна говорила, если та раньше по телефону все: «Борис да Борис», то сейчас одно: «Нет, не могу, не уговаривай». Не подпускает к себе. А он из-за этого злится и на других свою злость вымещает. Слышали, вчера шеф Квирикашвили разнос устроил из-за Мельникова?

— Да-а, — пропела Людмила Михайловна. — Я ведь за этим и шла. Мельников-то собирает жалобу подать Сергею Петровичу на Бориса Павловича. За то, что тот его премию отдал Иванченко. Это, кричал на весь отдел, попрание всяких норм, когда любовниц — тут Мельников другое словечко употребил, покрепче, и Людмила Михайловна, хоть были они наедине с Тamarочкой, по причине присущей ей деликатности не решилась произнести его вслух, а прошептала Тamarочке на ухо так вот этих самых оплачивают за счет государства. А ведь ему терять нечего, подаст жалобу, ей-богу, подаст. Неужели Борис Павлович действительно вместо

Мельникова Иванченко вписал? Наверное, это Тверской хотел угодить начальству?

— Представьте, Тверской здесь ни при чем, — авторитетно заявила Тamarочка. — Фамилию Иванченко шеф вписал собственной рукой. Я сама список перепечатывала.

— Ну, уж это тогда просто надо совесть потерять! — развела руками Людмила Михайловна.

— Да что вы удивляетесь, — покачала головой Тamarочка, — ведь это уж не первый раз. Путевку он ей для сына устроил в санаторий на целое лето. И ведь какое бесстыдство, нет чтобы культурненько, втихую самому напечатать отношение, он мне продиктовал: «Согласно договоренности просим выделить путевку для ответственного сотрудника главка Иванченко Н. А»... Представляете, эта мымра — ответственный сотрудник?! Какая наглость все-таки...

— Неужели Борис Павлович способен на такое?! — го ли искренне недоумевая, то ли подзадоривая Тamarочку на дальнейшие откровения, воскликнула Людмила Михайловна.

— А что Борис Павлович, ангел, что ли? — рассудительно заметила Тamarочка. — Есть у него права, вот он ими и пользуется. Не удивлюсь, если он ее и на повышение выдвинет.

Удостоверившись, что Тamarочка выложила все, Людмила Михайловна повторила несколько раз «нет, вы меня просто огорошили» и поспешила поделиться добытыми сведениями с другими.

К великому изумлению секретарши, в половине пятого пришел шеф. («Значит, все-таки был в Госплане, и я

попала в точку, когда сказала Людмиле Михайловне, что у них разлад», — гордясь своей проницательностью, отметила Тamarочка.) Не заходя в кабинет, Борис Павлович спросил, кто звонил, по каким вопросам. Тamarочка вытащила блокнот, страницы которого были разбиты вертикально на три графы: в первую следовало записать, кто звонил, во вторую — из какой организации, в третью по какому вопросу. Как вести блокнот, Борис Павлович объяснял секретарше раз десять, прежде чем она убедилась, что такая система действительно очень удобна.

— Звонков было мало, Борис Павлович, — глядя в блокнот, доложила Тamarочка. — Лернер из Госснаба просил сообщить насчет заказа для Новокузнецка. Парамонов из ЦК профсоюза интересовался, сколько наших предприятий работают по щекинскому методу. Я переадресовала его к Аркадию Борисовичу. Еще звонили из Донецка, Тулы, Таллинна, Новокузнецка — по поводу того же заказа для них. Всем сказала, чтоб подождали до завтра. А в течение последних пятнадцати минут дважды звонил Сергей Петрович. Первый раз я ему сообщила, что вы, возможно, придете к концу дня, а во второй раз он поинтересовался, не пришли ли вы. По какому делу, ничего не сказал. Наверное, что-то срочное...

Если бы начальник главка смотрел в этот момент не на пухленькие руки секретарши, держащие блокнот, а в ее глаза, он бы уловил в них нескрываемую насмешку.

«С Лернером разговор будет долгий», — рассудил Борис Павлович, садясь в кресло, и снял трубку телефона прямой связи с Сергеем Петровичем.

— Добрый день, Сергей Петрович. Ты меня искал?

С заместителем министра у Бориса Павловича была уже двадцатилетняя дружба. Дружба не в житейском смысле, когда по праздникам собираются семьями и потом, обнявшись, поют песни, или одалживают друг у друга до полочки, или спорят до хрипоты, талант Высоцкий или нет, или делятся бескорыстно сведениями, где чего можно достать. Нет, это была, так сказать, дружба новой формация, которую точнее можно определить как деловое сотрудничество. Знакомство их началось, когда оба были начальниками цехов. Потом Борис Павлович стал главным инженером, директором завода, а Сергей Петрович секретарем парткома, горкома. Многие вопросы приходилось им решать сообща, и взаимопонимание у них установилось хорошее. Когда Сергей Петрович занял пост замминистра, он через год вытащил в Москву Зайцева. Если бы Борис Павлович раньше сделал карьеру, он бы тоже, конечно, не забыл Сергея Петровича. Словом, они знали, что в работе смело могут положиться друг на друга. Таких земляков — не по рождению, а по месту предыдущей совместной работы — в любом ведомстве отыщется нынче немало.

Борис Павлович с Сергеем Петровичем были на «ты». Но как-то так получилось, уже здесь в Москве, что Борис Павлович хоть и говорил старому другу «ты», но называл его по имени отчеству, а тот обращения не изменил...

— Да, Борис, искал. Но это не телефонный разговор. Сейчас я как раз свободен, заходи.

К Сергею Петровичу можно было пройти и коридорами через три лестничные площадки, но на одной из них, предупредила Тamarочка, шел ремонт, и, чтоб не запачкаться ненароком, Борис Павлович спустился вниз, обогнул здание и вошел в подъезд, вывеска на котором была чуть помонументальней, чем на том, из которого вышел.

Сергей Петрович встал из-за стола, пожал ему руку:

— Устраивайся поудобней, разговор может получиться долгим.

«Снова Госплан нас за горло берег», — подумал Борис Павлович.

— Знаешь, Борис, мы с тобой старые друзья, — после длительной паузы начал Сергей Петрович, и Борис Павлович понял, что Госплан тут ни при чем. — Так вот, разреши, я без всяких там экивоков буду говорить прямо. Ты из-за какой-то юбки потерял голову и делаешь глупости...

Борис Павлович знал от Натальи Алексеевны, что сплетни об их отношениях ходят в коллективе, но относился к ним с брезгливой снисходительностью и никак не мог предположить, что, даже если они и дойдут до руководства, оно придаст им серьезное значение. Поэтому он был не подготовлен к такому разговору и растерянно молчал, даже не возмущившись, что Сергей Петрович так пренебрежительно охарактеризовал его чувство.

— До меня кое-что уже доходило, — продолжал Сергей Петрович, — но я решил, с кем не бывает, пере-

бесишься, а ты наоборот, чем дальше, тем, извини, чуднее становишься. Вот уже заявления на тебя пишут. — Он взял со стола лист бумаги, почти целиком исписанный мелким убористым почерком.

— Мельников, что ли? — сообразил Борис Павлович. — И он еще жалуется! Да его, алкоголика, гнать с работы надо!

— Пока не советую, — строго сказал Сергей Петрович. — Ты сам ему дал очень хороший козырь. Зачем ты вместо него вписал на премию эту Иванченко?

— Вот в чем дело? — гнев захлестнул Бориса Павловича. — Ну, и негодяй же!

— Пусть он и негодяй, ваш Мельников, — все так же строго проговорил Сергей Петрович, — но придется заткнуть ему рот этой премией, а то ведь вынесет сор из избы. И я тебе тогда не завидую. Хорошо, что сейчас все замкнулось на мне, а если б он подбросил эту бумажку кому другому?

Борис Павлович понурил голову и признал про себя, что Сергей Петрович, к сожалению, прав. Как, впрочем, права была и Наталья Алексеевна, когда говорила, что глупо афишировать их отношения.

— Ну, если тебе позарез надо было, чтоб она получила премию, — уже смягчившись, сказал Сергей Петрович, — так сделать бы, чтобы предложение исходило от начальника ее отдела. И тогда не было б никаких разговоров. Или у тебя с ним нелады?

— Я просто не подумал, — пробормотал Борис Павлович.

— Действительно, здорово она вскружила тебе голову, — голос Сергея Петровича звучал совсем уже

дружески. — А в нашем возрасте разные там сильные страсти чреватые большими неприятностями. Я, конечно, понимаю тебя. Лариса болеет, а ты вон еще какой молодец!..

«Ничего ты не понимаешь, — горько думал Борис Павлович, — это же моя последняя любовь».

... — И все же прошу, Борис, если не можешь порвать с этой женщиной, то сделай гак, чтобы больше никаких сплетен. Еще и вот почему. Наш старик, кажется, зашатался. И если я займу его место, что, понимаешь, не исключено, в этом вот кресле хотел бы видеть тебя...

Можно считать, что здесь, собственно, и закончился заслуживающий внимания период их любви.

* * *

Недели две Наталья Алексеевна не могла простить Борису Павловичу то, что он, ни слова не сказав ей, поставил ее в глупейшее положение с этой злосчастной премией, сделал объектом насмешливых взглядов, гнусных шептаний за спиной. Но вот как-то совершенно случайно столкнулись они на лестнице, когда кругом никого не было, и она непроизвольно замедлила шаг, а у него на секунду защемило сердце. Остановились, поздоровались, сказали друг другу что-то незначущее и разошлись. После этого они снова стали встречаться.

Встречаются по средам, а если Борису Павловичу позволяют обстоятельства, и в субботу, на квартире у Александра Михайловича Метлова. Тот года на полтора

отбыл в Новосибирск добывать диссертацию по социологии.

— Нет, пока есть возможность, надо уходить в науку, убежденно говорил он Борису Павловичу и Вертелю, когда расписывали прощальную пульку. — Ну, еще профсоюзы ничего, а ведь на нашей советской работе да и на хозяйственной, партийной, сломать шею очень даже просто. А социология — это какой же умница ее выдумал! — минимум умственных затрат и, пожалуйста, жуй бутерброды с икрой!

... Встречи у них теперь проходят как-то по семейному буднично, хотя Борис Павлович всегда приезжает с букетом цветов и бутылкой шампанского. Наталья Алексеевна добросовестно отвечает на его ласки, но, если спросить ее, любит ли она Бориса Павловича, то, скорее всего, ответ последует отрицательный. Иногда, правда, она вспоминает его прежние мальчишеские выходки, и ей становится чуть грустно, что сейчас Борис Павлович даже с ней наедине больше все-таки начальник главка и меньше — мужчина. Но бросать она его не собирается. Во-первых, Борис Павлович не подыскал ей еще подходящей работы — оставаться же Наталье Алексеевне в главке, это и он понял, только дразнить гусей. Во-вторых, Лене очень понравился санаторий и хорошо бы устроить его туда и на следующее лето. В-третьих, со Святославом Наталья Алексеевна твердо решила развестись, никого же больше у нее на примете нет, а мужика, как говорит Люба, иногда все-таки хочется.

Если же Борису Павловичу задать вопрос, как он относится к Наталье Алексеевне, то он, пожалуй, без

колебаний ответит, что любит ее. Наверное потому, что искренне убежден: это его последняя любовь, а последней любви человек верен до конца. Тем не менее, своего предложения Наталье Алексеевне он не возобновляет, хотя жене, кажется, помогли чудо-таблетки, и она перестала заводить заупокойные разговоры, но спят по-прежнему они в разных комнатах.

Борис Павлович снова деловит, педантичен и официален, снова застегнут на все пуговицы. Он чуть постарел, но сослуживцы никак не вменяют это в вину Наталье Алексеевне, а объясняют исключительно постоянными корректировками планов, которые хоть у кого не один год жизни отнимут.

Пересуды в коллективе постепенно прекратились, потому как исчезли и поводы для них. Тamarочка-то знает, что пусть не такой, как прежде, но роман у ее начальника продолжается, однако сдерживает себя и, несмотря на титанические усилия Людмилы Михайловны разговорить ее, помалкивает. Командировку в молодую африканскую республику из-за происшедшей там перероентации руководства Тamarочкиному мужу отменили, и чемоданы пришлось распаковать.

1979 г.

ЗНАЙТЕ НАШИХ

Дежурная медсестра Валентина Власова, в который уже раз перелистав журнал назначений, куда врачи их второго терапевтического отделения записывают, кому, какие и когда давать лекарства, отложила его в сторону и посмотрела на часы. Всего половина первого. Значит, ей торчать здесь еще целых восемь часов. Конечно, можно пойти в процедурную, где есть кушетка, и вздремнуть немного — все время быстрее бы пролетело. Но, во-первых, знает, не дадут заснуть мысли о дочке — когда уходила, температура у нее поднялась до тридцати семи и пяти, как-то она там, крохотулечка, следит ли за ней Зинаида? А, во-вторых, дежурным врачом сегодня Руфина Сергеевна, прозванная девочками Стервозой за пакостное обыкновение уличать сестер и санитарок в нерадивости и «капать» на них главврачу. Когда Валентина начинала здесь работать, Руфина Сергеевна куда помягче была, а как пятьдесят пять в прошлом году стукнуло, прямо с цепи сорвалась, дня не может прожить, чтоб не донести на кого. Знать, боится, что на пенсию спровадят, вот и укрепляет авторитет у начальства. Если Стервоза «на вахте», то обязательно жди: раза три-четыре среди ночи заявится.

«А какой смысл торчать, как попка, всю ночь в коридоре? — думает Валентина. — Да еще сидишь спиной к палатам, дверь кто откроет, и то не увидишь, разве только окликнут. В нормальных больницах у каждой кровати кнопка вызова дежурной сестры, понадобилось что больному, нажал на кнопку, а в дежурке тут же зво-

ночек звенит, и красная лампочка загорается под номером палаты, откуда сигнал поступил. Вот бы и у нас так сделать».

Только больница-то у них не обычная. Для медперсонала, действительно, порядки и правила здесь больничные, а для самих больных — санаторные. Сюда направляют тех, кто по сути уже вылечился, вроде как для закрепления результатов. Если же у кого случись вдруг обострение прежней болезни или какая новая серьезная хворь обнаружится, его тут же обратно в город отвозят. Говорят, что строили их больницу как санаторий (поэтому-то и сигнализацию в палаты не провели), и название уже ему дали — «Старый бор», только в последний момент, как это часто бывает, передумали. Так вот и появился «Загородный реабилитационный центр». Правда, официальное это название не прижилось. Хотя уже восемь лет действует центр, а больные да и медперсонал все промеж себя называют его «Старым бором».

Валентина улыбнулась, вспомнив, как в первое свое дежурство, когда она, окаменев от напряжения и ничего не соображая, сидела вот за этим же столиком, к ней подошла уборщица их пятого этажа Владимировна и неожиданно спросила:

— А знаешь, сестрица, почему нашу больницу прозывают «Старый бор»?

Валентина обрадовалась, что эта пожилая женщина с таким добрым, улыбчивым лицом завела с ней разговор. Может, хоть за беседой пропадет никак не отпущавший страх: вдруг на первом же дежурстве опозорюсь, перепутаю лекарства или не смогу банки поста-

вить? И она, нарочно помолчав минуту, чтоб не обидеть Владимировну быстрым ответом на ее бесхитростный вопрос, будто сомневаясь, медленно сказала:

— Так, наверное, потому что сосны кругом растут. Да какие огромные они здесь — уж точно каждой больше ста лет.

— Так-то оно так, да не совсем, — лукаво подмигнула Владимировна, — а оттого «бор», что «шишек» у нас много, и не только сосновых, кедровые тоже попадают. — Она кивнула в тот конец коридора, где размещались люксы, и после многозначительной паузы закончила. — Да, беда, «шишечки» наши больно старые, белочками давно вылущенные. От них ничего уж, поди, не произрастет.

Ну, Владимировна так учудит иногда, так учудит...

Что говорить, основной контингент больных у них на самом деле старики. Укрепляют здоровье, или, как они сами шутят, «реабилитируются», здесь настоящие и бывшие ответственные работники республиканских хозяйственных учреждений и их жены. За глаза они именуются «тещами», потому как, в отличие от своих мужей, в подавляющем большинстве своем покладистых и непривередливых, разве что порой чересчур словоохотливых, старухи сплошь и рядом стараются показать характер: по десять раз на дню гоняют сестер за врачом, чуть голова заболит, требуют, чтоб завтраки-обеды им в палату носили, поучают, как ставить компрессы, жалуются, что гудение пылесоса вызывает у них мигрень.

Этих «тещ» Валентина, что таить, тоже недолюбливает, а вот старичков жалеет. Да и как их не пожалеть. Просидели они, бедолаги, всю жизнь по кабинетам и

теперь, будучи уже в преклонных годах, стараются на-верстать упущенное по пять-шесть часов вышагивают по аллеям их соснового бора. Вон Леонид Иванович из первой до того доходился, что все пятки стер и теперь ему каждый вечер надо делать горячую содовую ванну для ног, а потом смазывать их облепиховым маслом. На одну эту процедуру полчаса ушло. А у нее десять палат — двадцать человек, и каждому что-то предписано. Сейчас, правда, девятнадцать, в восьмой один живет. И все равно — двоим горчишки ставила, «теще» из пятой — банки, та горчишки не признает, еще двоим компрессы...

Валентина снова взяла тетрадь назначений, еще раз проверила, не пропустила ли какой процедуры, не забыла ли кому микстуру отнести, удостоверилась, что все сделано полностью, и вернулась к прерванным мыслям.

... Вот и ходят и ходят старички, да только ходят не так, как надо бы. Им бы в лес по грибы или — речка рядом — рыбу поудить, а они разобьются по двое, но трое и семят по асфальту от ворот до ворот, километры нахаживают (центральная аллея будто для удобства счета как раз пятьсот метров). И все о делах разговоры ведут. Валентина, когда на работу или с работы мимо них спешит, краем уха слышит: кому-то — вымолил — план скостили, где-то снова график сорвали, кого-то задвинули незаслуженно.

И на отдыхе, значит, тревожатся за порученный участок. А посмотреть на такого — сердце кровью обольется. Придет она горчишки ставить, скинет он казенную пижаму, рубашку на голову задерет, а спинка-

то худенькая: лопатки торчат, позвонки пересчитать можно, на ребрах кожа пообвисла и вся в пятнах. «Господи, — подумает, — у него в чем только душа держится, а его с поста не отпускают, не иначе большой умница, замены найти не могут».

Вот взять хоть этих двоих из четвертой палаты — Алексея Степановича и Александра Степановича. Прямо и смех и грех. Они не только именами-отчествами схожи, но и внешне на братьев смахивают. Оба небольшого росточка, седенькие, в очках. Алексей Степанович постарше, но еще работает, планированием чего-то занимается. Александр же Степанович рассказывал ей, как полтора года назад отметил семидесятилетие, так сразу и дня, говорит, задерживаться не стал, пошел на заслуженный отдых, хотя уговаривали еще потрудиться. В один день они приехали, в одну палату их и поселили.

Хорошие старички, спокойные. Однако, поначалу произошло между ними недоразумение. Александр Степанович, тот, что пенсионер, как процедуры закончит, так и пошел вышагивать. Алексей же Степанович все больше в палате или на балкончике сидит — газетки читает, да еще бумаги какие-то ему подвезли, изучает их, заметки делает. За полчаса до обеда сестра, как положено, лекарства разносит. Александру Степановичу, у того легочное что-то, прописан прополис — тридцать капель на полстакана молока. Алексею Степановичу от печени — отвар бессмертника. Лекарства и по цвету и по вкусу разные, невозможно перепутать. Только Алексей Степанович и свое выпил и соседа. Александр Степанович перед обедом самым с прогулочки пришел, а его стаканчик уже пустой на столике стоит. Ну, первый

раз он посмеялся и этим ограничился. На второй день та же история. Тут он указал Алексею Степановичу, что, безусловно, микстуры своей ему не жалко, хотя прополис и дефицит, да не пошла бы она во вред соседу. Алексей Степанович смутился: я, дескать, не нарочно, просто стаканчики одинаковые, свой выпью да через десять минут и забуду, что уже принял лекарство, и вы же тогда выпиваете. Стаканчики-то не различишь. В общем, и после этого объяснения все повторилось.

Валентина как раз дежурила, заявили к ней старики: организуйте, мол, дело так, чтобы один не оставался без лекарства, а другой во вред себе чужого не пил. А что тут придумаешь? Не поджидать же Александра Степановича с каждой прогулки и лично ему в руки этот прополис вручать. У сестры, кроме них двоих, еще восемнадцать больных на попечении, за которыми тоже глаз и уход нужен. Прямо безвыходное положение. А Владимировна, когда Валентина ей ситуацию обрисовала, нет бы посочувствовать, рассмеялась. Ты, говорит, еще молодая, не все знаешь, а для склеротиков, чтобы память они не теряли, есть один очень верный способ. Старики, известно, что дети. А как твоя Диночка в садике свой шкафчик узнает? — По картинке. Вот и надо на стакан забывчивого старичка картинку наклеить — зверюшку какую-нибудь. «Ой, что вы! — испугалась Валентина. — А вдруг обидится? Ведь у Алексея Степановича должность наверняка немаленькая, а тут такое — картинка детская?» — «Ну, тогда доверься мне, — решительно заявила Владимировна. — Я к ним подход изучила».

И ведь не то чтоб обиделся Алексей Степанович, а даже улыбнулся, когда Владимировна торжественно вручила ему стакан с переводной картинкой — забавным таким зайцем: вот, мол, будет теперь у вас во избежание недоразумений персональный сосуд.

— Так-то, уважаемая товарищ сестра, — назидательно сказал Валентине Алексей Степанович, когда она принесла ему бессмертник в приметном стакане. — Вы не смогли сообразить, как нашу с Александром Степановичем конфликтную ситуацию уладить, а санитарка ваша Тамара Владимировна очень остроумно решила эту задачку. А почему? Потому что богатый опыт у нее за плечами. Да, девушка, опыт нашего поколения — это, можно сказать, бесценное народное достояние.

Любят эти старички нравоучения читать.

Владимировна же теперь Алексея Степановича, ох, умора, только «Зайчиком» и зовет. Нет, с ней не соскучишься...

Тут Валентина одернула себя: «Чего это я все про смешное думаю? Не к добру. Может, Диночке хуже стало?»

Была б с нею Владимировна, и душа была б спокойна. Да вот беда, Владимировна тоже сейчас дежурит — подрядилась на месяц ночного вахтера подменять. А что, шутит, не все ли равно, где спать, дома или на работе, а Зинаиде сапоги к зиме надобны. Если б не мать, Зинаида б таких нарядов не имела. На сто рублей не разбежишься. Зинаида, как и она, сестрой работает. Только у них в физиотерапевтическом кабинете ночных дежурств, попятное дело, нет. Вот и согласилась выручить сегодня Валентину: накормить Диночку ужином,

уложить спать и, па всякий случай, переночевать в их квартире. Дочка обрадовалась остаться с тетей Зиной, как же: та ей сказку новую расскажет. Несмышленьш ведь, не понимает еще ничего. А ночью жар если начнется, плакать станет? Зинаида такая соня, из пушек пали — не проснется...

Валентина представила эту ужасную сцену, как, надрываясь, плачет ее Диночка, а соседка сладко посапывает на диване, и затрясла головой, чтобы прогнать кошмарное наваждение.

... Чего теперь себя растравливать! Попыталась подменитьсь с кем-нибудь, так суббота — все в город подались, кто в гости, кто за покупками. А Федор еще в пятницу вечером укатил. Надо же, приспичило ему. Будто отец с матерью сами б не управились с этой картошкой.

Вообще-то на мужа она, конечно, несправедливо злится. Наметили они поездку еще неделю назад, и с Зинаидой тогда же обусловились. Когда Федор уезжал, дочка здоровенькая была, веселая, кто ж знал, что заболит. А отца, мать писала, в последнее время ревматизм совсем замучил. После этого письма Федор и вызвался подсобить теще с тестем убрать урожай. Собирался в дорогу — светился весь. Не от родственных чувств, известно, хотя ее родителей он чтит, просто все еще прет из него деревенская натура, так и тянет к земле. Как она мужа ни обтесывает, взглянешь только, сразу видно — деревенщина.

Неловко бывает Валентине перед другими за своего супруга, стыдится она, что такой неказистый он у нее, складно ничего сказать не может, все «чо?» да «чо?». Признаться самой себе, не о таком она мечтала.

Вот у них в медучилище хирургию вел Эдуард Григорьевич. Высокий, стройный, глаза черные, нос прямой, волосы смоляные и чуть вьются — все девчонки в него были влюблены. Этот Павлик из восьмой чем-то на Эдуарда Григорьевича похож. А Федор у нее белобрысый, ресницы выцветшие, нос какой-то совсем обыкновенный, правда, глаза ясные, родниковые и телом крепкий, плечистый. Только при его мизерном росте это даже и не очень красиво. Валентина сама кнопка — сто пятьдесят один, но для женщины это, как говорит Зинаида, весьма пикантно. Федор всего же на пять сантиметров выше — никакой солидности, выглядит как пацан, а ему уже двадцать восемь.

Теперь-то, после пяти лет замужества, притерлись они, привыкла потихонечку Валентина к своему несолидному супругу, а на первом году совместной жизни еще немного и развелась бы с ним. Не по любви она за Федора выходила — из жалости, уж больно он в нее влюблен был.

Они из одного поселка, отсюда и не так далеко, только ехать с тремя пересадками, так что, когда родителей навещают, часов восемь уходит на дорогу. Федор, наверное, уж ночью к ним вчера заявился. Учились с первого до восьмого класса вместе. А весной, как раз экзамены сдавали, мать у Федора умерла. Была она одиночка, и мальчика взяла к себе тетка, которая жила в соседнем колхозе. Федор учебу не стал продолжать, да он и тяги к ней никогда не имел, ходил все время в троечниках, а начал «мантулить» — от этого дурацкого слова она никак не может его отучить. Сначала — куда пошлют, а после курсов механизаторов: весной — на

тракторе, летом на комбайн пересаживался. У них в колхозе народу-то было не густо.

Как уехал Федор из поселка — Валентине что был он, что не был, совершенно безразлично она к нему относилась. А потом, когда в десятом училась, зачастил к ним в клуб на танцы. И все ее приглашал. Она не отказывала, потому что вообще у них в поселке не полагалось отказывать, если на танец приглашают, да и успехом у ребят Валентина, чего уж там себя обманывать, никогда не пользовалась. А только все равно не было у нее к Федору никакого интереса.

После десятилетки поехала в институт поступать в финансовый — мать настояла, она бухгалтером в райпо работала. На первом же экзамене срезалась. Вернулась домой, для стажера устроилась кассиром в столовую, опять же мамаша подсуетилась. Федора осенью в армию забрали, пришел прощаться, Валентина так удивилась, так удивилась, и перед родителями неудобно: переглядываются они между собой со значением, а она ведь ему даже намек на дружбу не давала.

А когда уже в медучилище училась, получает вдруг письмо от Федора (так до сих пор он не открывает, как узнал адрес ее общежития). Ну и нахохотались они тогда с девчонками, читая вслух это послание. Чего там только не было, прямо из кинокомедии какой! И что «честно несет он нелегкую солдатскую службу», и что «пусть будет спокойна подруга за покой родных рубежей», и что «легче переносить невзгоды, когда знаешь: за тысячи километров ждет тебя нежное сердце» и от этого, мол, «всегда порядок в танковых частях». Ясно, что не Федор все это сочинил, видно, образец там у них

был, а он с него списывал, потому что ни одной ошибки не сделал, а вот имя ее написал Валентина.

Валентина ему, конечно, не ответила, потому что не то чтоб не было к нему ни капли сердечного влечения, а даже и вспоминать-то о нем никогда не вспоминала. Снился ей тогда ночами красавец Эдуард Григорьевич. Да только Эдуард Григорьевич уже был женат и с учащимися ничего себе такого не позволял, но если б и позволил вдруг, то ей-то уж никак не светило завоевать его благосклонность. Она среди девчонок красотой не выделялась, и к тому же уже тогда полнеть начала. Конечно, грош бы ей цена как женщине, если б не мечтала Валентина о красивой любви. Ну, не Эдуард Григорьевич, так встретится еще на жизненном пути другой кто — красивый, умный, сильный. А только и в городе не обращали па нее внимания парни. К другим, слышишь, опять кто-то пристал на улице, в ресторан пригласил. Надька Заволинская именно так со своим мужем познакомилась, живет сейчас в самом центре, в шикарной двухкомнатной квартире — он у нее в каком-то хитром институте работает. К Валентине, правда, несколько раз тоже приставали, но все по пьянке, а она пьяных терпеть не могла, считала, что это всякую гордость девичью потерять надо, если на такое знакомство пойти.

Когда в «Старый бор» распределили, подумала: может, там судьба ее ждет. А приехала сюда, быстро поняла, что грозит ей невеселая перспектива остаться вековухой. Специально, видно, место выбирали погуще. Стоит посреди соснового бора шестиэтажный корпус, и в километре от него за оврагом — четыре пятиэтажных дома для обслуживающего персонала и торго-

во-бытовой центр, где и магазин, и почта, и сберкасса, словом, все услуги.

Ближайшая деревня за пять километров, да еще на той стороне реки небольшой дачный поселок. Вот и ищи здесь свое счастье. В больнице, понятно, сплошь женщины, из врачей мужчин трое, главврач Георгий Константинович, стоматолог Вениамин Евсеевич и рентгенолог Анатолий Александрович. Все трое давно женаты, и у всех жены тоже врачи.

Мужское население их поселка тоже невелико, и холостяков здесь нет совсем, все мужья медперсонала. В «Старом бору» для сильного пола работы мало, так что большинство мужчин устроилось или в райцентре — это по шоссе двенадцать километров, или на узловой станции — куда добираться сначала автобусом, потом электричкой. Сейчас только понимает Валентина, как ей с Федором повезло. Сколько уже девчонок на ее глазах засохло, смирилось с одиночеством, а ведь какие симпатичные есть среди них, не то, что она. Взять хоть Зинаиду. Та, правда, еще хорохорится. Вот, говорит, возьму да охмурю какого «среднячка»...

Мысли Валентины, зацепившись за это слово, приняли новый оборот.

...«Среднячками», с легкой руки Владимировны, называют сестры и санитарки больных в возрасте от сорока до шестидесяти. Но их прослойка в «Старом бору» весьма незначительна. (Безусловно, на руководящие посты отбирают людей крепкого здоровья, у которых нужда в больничном лечении появляется уже после достижения ими пенсионного рубежа). С этими «среднячками» как раз и происходят разные чрезвычайные

происшествия. Девяносто девять процентов их — сердечники. Отлежится такой в больнице месяц-полтора после приступа, приезжает сюда кум королю — чувствует себя отлично, а здесь еще сосны, как на картинке у Шишкина, речка плещется, ну и вызывает он друзей-коллег навестить его. Те, конечно, в субботу, как сегодня, или в воскресенье наезжают. Несмотря на строгие запреты, обязательно кто-нибудь винца прихватит, иной больной и не удержится от соблазна. Бывает, обходится, а бывает, и уколами дело не ограничивается, приходится обратно в больницу отправлять.

Попадают среди «среднячков» и такие шустрые, что самовольно в город ездят, к любовницам, не иначе. Владимировна один забавный случай рассказывала. Прошлой зимой опять же подменяла она вахтера. Ночью стучит кто-то в окно караулки. Она глядит: солидный человек в пыжиковой шапке, на такси приехал — зеленый глазок позади него виден. Открыла дверь: отдыхающий, как раз с их пятого этажа. «Где это, — спрашивает, — вы были, товарищ больной?» А он наклоняется к ней и таинственно шепчет: «Стихи, мамаша, сочинял». — «Какие стихи в три часа ночи?» — опешила Владимировна. «Самое, — отвечает — мамаша, поэтическое время. Луна светит. Снег белый блестит. И березки белые». И вздохнул томно, а глаза веселые, а в караулке дух стоит коньячный с примесью женских духов. Дело ясное, что за стихи. Но Владимировна поговорить любит, продолжает допрос: «Где ж это вы березы у нас нашли?» — «Так нет их здесь, мамаша, — смеется больной. — А без них какие стихи, вот и пришлось в Березовку ехать. А обратно таксисты не хотят везти. Еле

одного уговорил за полсотни». — «Ой, и денег вам таких не жалко!» — не удержалась Владимировна. «Искусство, мамаша, требует жертв», — торжественно произнес больной.

Теперь они, если видят, кто после отбоя возвращается да еще навеселе, непременно шутят: «Небось, стихи писал»...

Не ей, конечно, заведенные порядки осуждать, но раз больница, значит, должна быть дисциплина. А у них больные уж слишком вольготно себя чувствуют. Особенно с их этажа — на нижних там размещают тех, у кого заболевания серьезные были, или уж совсем дряхлых, а на четвертом и пятом обитают люди практически здоровые, для своего возраста, естественно. Соберутся в холле и режутся до ночи в преферанс, попытаешься приструнить их, они в люкс к кому-нибудь переберутся.

А сегодня к этому Павлику из восьмой палаты трое друзей после обеда заявили. Ленка, когда ей дежурство сдавала, предупредила, что портфели у них были очень пузатые, так что погудели ребятки. Павлик их даже не проводил, видно, хорош, а они — так по стенке шли. Рисковые — ведь на машине собственной приехали.

Валентина, когда на ночь обходила палаш, лекарства разносила, все больше снотворное — днем-то и находят, и отоспят, в восьмую тоже зашла. Павлику этому Полина Александровна назначила пустырник с валерьянкой — так травки, что пей ее, что не пей, но раз человек в больнице, надо ему хоть что-то прописать. Когда вошла в палату, прямо возмущение взяло: у батареи три или четыре пустых водочных бутылки стоят и на

столе почти нетронутая «Лимонная» с завинчивающейся пробкой. Здесь же в вазе для фруктов — помидоры, огурцы, куски ветчины и колбасы недоеденные, и хоть бы газеткой прикрыли. Сам Павлик дрыхнет без задних ног, куртку, правда, свою шикарную скинул, бросил на пустующую кровать, а уж на брюки сил не хватило. Конечно, безобразие, но не в ее правилах доносить на больных, утром-то ему замечание надо сделать, да только вряд ли он поймет, избалован. Одно слово, «чей-то сын». Сам Георгий Константинович указание дал: никого к нему в палату не подселять.

Павлик из той категории больных, которые называются у них «чьи-то дети». Их в больнице совсем мало и они резко разделяются на два разряда. Одни — худенькие, бледненькие подростки, судя по всему, с рождения мучимые каким-нибудь злым недугом. Другие, напротив, откормленные, как поросята, этих родители отправляют сюда, чтобы сбросили их сынки и дочки лишний вес. Павлик, хоть и был «чей-то сын», но не относился ни к первому, ни ко второму разряду. Вид у него спортивный, здоровье богатырское, когда идет по коридору в своем заграничном немислимо голубом костюме с ослепительно белыми молниями — ну ни дать ни взять член сборной СССР. Красивый мальчик. А попал он сюда, потому что ездил летом куда-то на Кавказ на лыжах кататься и сломал там ногу. Так поняла она, слушая люксовых «среднячков», что у их детей мода сейчас: летом с гор на лыжах кататься, а зимой в Черном море плавать. Что ж, если возможности есть, почему блажь такую себе не позволить. Только она считает: зима самое время для лыж, а лето для купания.

Может, как говорится, Бог и наказал Павлика, чтоб тот не выпендривался. Полтора месяца в гипсе пролежал. Сюда приехал с палочкой, но это так, больше для форсу, он и не хромает уже вовсе. Через неделю, наверное, выпишут, да он и сам рвется, это старичков отсюда не выгонишь, а молодой в такой компании быстро затоскует...

Валентина посмотрела на часы: «Ой, сколько всего передумала — и про дочку, и про больных, и про Федора, и смешные истории, что Владимировна рассказывала, вспомнила, а прошло-то всего двадцать минут. Вот время, когда его торопишь, оно будто назло медленно тянется, а попробуй, чтоб дольше протянулось что-нибудь хорошее — нет, пролетит, как миг».... В августе все втроем ездили они на Рижское взморье. Лучшая ее подружка по медучилищу Наташа Семиохина в гости пригласила. Теперь-то она не Семиохина, а Круминя — за латыша замуж вышла и, дуреха, свою красивую фамилию сменила на что-то непонятное. Валентина вот свою оставила. Когда Федор посватался, поставила ему два условия: фамилию твою, а он — Баранчиков, брать не буду и в деревню к тебе переезжать не намерена. Ну, он-то так уж рад был, что она «да» сказала, безропотно на все согласился. А этот Янис тихий-тихий, а Наташку скрутил. И дочку вон в свою честь назвал Яниной. Но вообще-то Янис хороший парень, гостеприимный, и с Федором они быстро подружились. А что еще любопытно, Валентине совсем не стыдно было перед Наташкой за мужнин деревенский выговор, потому что Янис по-русски не шибко грамотно говорит.

Море они тогда впервые увидели. Уж так Диночка ему радовалась — не вытацишь из воды. Да и они с Федором как дети резвились. Кто высокий, те на Рижское взморье досадуют — больно мелко, прежде чем поплыть, метров пятьдесят надо пройти до подходящей глубины, а с их ростом, так в самый раз. Пробежишь по мелководью немного и плюх в воду. А Диночка следом через волночки перепрыгивает, не боится, и кричит: «Папа! Мама! И меня возьмите. Я тоже плавать хочу». Федор на полном серьезе убеждал, что под конец она уже целую минуту могла продержаться на воде. Да-а, вот было счастливое времечко. Только пролетели эти две недели, как миг. Можно было бы и еще задержаться дней на пять, но деньги кончились — и так двести рублей ухлопали вместе с дорогой, да еще ведь жилье бесплатное было, а занимать у Наташки не хотелось, не подумала б, что нищие они какие.

И правильно, что не остались, после отпуска всегда туго с деньгами, а тут по случаю Диночке шубку купила и шапочку — из старых та уже выросла, вот пятидесяти рублей как не бывало. Хорошо еще Владимировна двадцаткой выручила до полочки. Видно, пока в ритм не войдут, придется Федору отложить заветное мечтание. Хотел он в своих автомастерских, где слесарил, пойти на курсы водителей, но это надо на два месяца с отрывом от производства, а значит, в зарботке вдвое потерять. Но зато потом ездил бы на рейсовом автобусе, там больше двухсот в месяц получается, а глядишь, освободится в «Старом бору» шоферская должность — у них и легковушки, и «рафики», и грузовики есть — может, и

его бы взяли. Да что загадывать! Вдруг у Диночки что серьезное, придется отпуск за свой счет брать...

Тут Валентина задремала и потому не услышала шелеста шагов по ковровой дорожке. Проснулась она оттого, что чья-то крепкая рука прижала ее левое плечо к спинке стула, а другую руку — загорелую, с золотым перстнем на мизинце, она увидела прямо перед своими опущенными вниз глазами, и эта рука нащупала ее грудь и стала стискивать ее, и длинные загорелые пальцы зашевелились медленно и нагло.

Валентина на какое-то время оцепенела, потом вскрикнула тихо: «Ой, кто это?», хотя уже поняла по перстню на загорелой руке, что это «Чей-то сын» из восьмой палаты. У нее вдруг начисто вылетело из головы его имя. «Пустите же!» — все таким же тихим шепотом крикнула она. «Чей-то сын» навалился на нее и, обдавая перегаром, быстро проговорил в самое ухо: «Цыпочка, пойдем ко мне. Не пожалеешь». И тут же отпустил ее.

Валентина вскочила со стула и обернулась. «Чей-то сын» уже стоял у открытой двери своей палаты. Он наклонился в ее сторону, развел руки и медленно зашевелил пальцами: «Цып-цып-цып!». Самодовольная ухмылка широко раздвинула его рот, обнажив ровные белые зубы.

Ничего не соображая, только чувствуя, как горячая краска стыда заливает лицо, Валентина шагнула навстречу этой, кажется, заслонившей всю ширину двери ухмылке и, сжав кулачок правой руки, изо всей силы бросила его вперед. И потом заколотила им быстро-быстро, повторяя: «Ах ты, гад! Ах ты, гад!». Останови-

лась она только тогда, когда увидела, что никакой ухмылки перед ней нет, а есть ошарашенное лицо «Чьего-то сына», и из носа у него медленно течет густая красная струя, и крупные капли прямо с верхней губы падают на пол.

А потом откуда-то сбоку из тумана выплыла совсем рядом кричащая физиономия Руфины Сергеевны. Наверное, та начала кричать раньше, но Валентина услышала ее, лишь когда Стервоза подбежала вплотную. «Прекрати же, наконец, безобразие!» — во весь голос орала она, хотя руки у Валентины уже были опущены. Дальше все виделось очень отчетливо. Как высунулась из шестой палаты «теща», которая поучала ее сегодня, как полагается делать компресс. Как, зажав обеими руками нос, ногой захлопнул дверь «Чей-то сын». Как из четвертой палаты выглянул на секунду не то Алексей Степанович, не то Александр Степанович...

— Успокойтесь, больные, успокойтесь! — медовым голосом пела Стервоза. — Извините, что нарушили ваш покой.

— А что все-таки случилось? — долго не унималась «теща». — Это не больница, а черт знает что. И процедуры никто не умеет делать, и еще ночью шум поднимают.

Наконец, и за «тещей» закрылась дверь.

— Какой позор! — зашипела Стервоза. — Боже, какой позор! Устроить мордобой, и где — в больнице! В нашей больнице! — Она сделала ударение на слове «нашей».

— Он пьяный, и стал приставать, — немного опомнившись, начала оправдываться Валентина.

— Не ври! — зашипела Стервоза. — Я стояла в дверях и все видела. Он наклонился и что-то тебе сказал на ухо, а потом отошел. И тут ты набросилась на него. А притворялась все тихоней. Нет, я говорила Георгию Константиновичу, что у наших сестер наблюдаются шашни с больными, и вот, пожалуйста, дело уже доходит до выяснения отношений при помощи рукоприкладства.

— Каких отношений? — пыталась вставить Валентина, — Как вы можете такое подумать?

— А ты помолчи! — с шипения на какой-то злоеущий свист перешла Стервоза. — Просто так тебе этот дикий скандал не пройдет! Вылетишь отсюда вверх тормашками. Ты знаешь, кого ударила? Чей это сын?

— Нет, — растерянно покачала головой Валентина.

— Ну, ничего, когда вышвырнут тебя отсюда, узнаешь. Это ж какое пятно, безобразница, бросила на весь коллектив! Это ж какая слава о нас пойдет! — И Стервоза от негодования вся затряслась.

Валентина уже давно сидела на стуле, плакала, размазывала рукой слезы по лицу, а Стервоза все внушала и внушала ей что-то свистящим шепотом, но до сознания Валентины дошло только одно: утром, как только ее сменят, она должна быть у кабинета главврача.

— У Георгия Константиновича выходной, — не преминула для чего-то сообщить Стервоза. — Но уезжает больной из пятого люкса, и он придет его проводить. Так что ни секунды не задерживайся, если не хочешь, чтобы дело до милиции дошло.

Стервоза ушла. Валентина сидела, тупо уставившись в темное окно, плакала тихонечко и все больше и больше проникалась сознанием, что случилось что-то страшное, непоправимое. Стервоза права, скандал, виновницей которого все, конечно, будут считать ее, вполне достаточная причина для увольнения. Прахом рушится жизнь, которая только-только начала устраиваться так, как ей мечталось. Ее вышвырнут не только с работы, а из квартиры тоже. Из квартиры, которую они ждали три года, ютась в девятиметровой комнатке в общежитии. И ей дали все-таки эту квартиру, потому что она сама всегда была на хорошем счету и ее всегда ставили в пример. Да, ставили, теперь же будут позорить на каждом шагу.

А как они с Федором заботились, чтобы квартира была, как картинка. Какие красивые обои она подобрала, какую шикарную, не отличишь от хрустальной, люстру купила тогда в Риге! А Федор сам отциклевал и покрыл лаком пол, соорудил антресоли и так их замаскировал, что будто их и нет. И «стенку» удалось достать красивую — все завидуют. На эту «стенку» ушли все сбережения, что оставались еще у Федора от колхозной жизни...

«А может, не уволят?» — всплывала вдруг надежда, и Валентина начинала представлять, как Георгий Константинович, внимательно выслушав ее, утешит: «Вы поступили правильно, защищая свое женское достоинство», а Стервозе скажет строго: «А вы, Руфина Сергеевна, подготовьте документы на выписку этого из восьмой палаты, мы не посмотрим, что он чей-то там

сын. И в институт, где он учится, пожалуй, надо сообщить». И Стервоза утрется...

Только нет. Если бы она вlepила «Чьему-то сыну» пощечину, как это делают в кино красивые интеллигентные девушки, тогда, может, и поверили бы ей. А то ведь, (действительно, права Стервоза, получился самый настоящий мордобой. Так у них в поселке соседка бабка Саша была своего непутевого старика, когда тот слишком загуливал. И Георгий Константинович уж точно не будет ее защищать. Он трус и подхалим. Для этого сопливого мальчишки целую палату приказал выделить. Потому что, видите ли, тот чей-то сын. А Георгий Константинович спит и видит, как бы в министерство перебраться, и ему из-за простой медсестры портить отношения ни с кем не хочется.

Нет, ее, конечно, уволят. И не придется Федору больше копать грядки под их окном. Когда они переехали, он так обрадовался, что первый этаж и что можно, хоть маленький, но огородик завести. Но она сказала строго: «Не позорь меня этим огородом. Если хочешь чего сажать, так только цветы». И он, конечно, послушался ее. Он только один раз не подчинился ее желанию, когда записал в дочкиной метрике фамилию «Баранчикова». «Некрасиво, — убеждала она, — Диана и вдруг Баранчикова». А он только одно повторяет: «Чо люди подумают, у ребенка отца, чо ли, нет». Уперся, и все тут. А с цветами он, хоть и смирился, но все-таки обманул ее. В город даже ездил за семенами и рассадой. Летом у них под окном прямо ковер: и гвоздики, и левкои, и еще какие-то красивые цветы, а все больше ирисы. Не знала она, что ирисы — любимые у мужа

цветы. Только, видно, неудачно Федор семена купил: половина ирисов этих в цвет пошла, а у другой даже намек на бутоны нет. Посмотрела как-то Владимировна на клумбу и засмеялась: «Ну и хитрован у тебя мужик, Валентина!» Оказывается, Федор вперемешку с этими ирисами чеснок посадил. А Валентина, хоть в поселке выросла, вроде б почти в деревне, но огорода никогда у них не было, и, как стебель чеснока выглядит, она толком не знала...

И, вспомнив про эти ирисы и про этот чеснок, Валентина зарыдала навзрыд.

А может, есть все-таки справедливость, нарыдав-шись вдосталь, снова начала обнадеживать себя. Может, признаться Георгию Константиновичу, что даже Федору она разрешила впервые поцеловать себя только на свадьбе? Целый месяц, что у родителей гостила, во второй свой отпуск из «Старого бора» приехала тогда, так вот целый месяц и каждый день он ее до дома провожал и только руку ему подавала на прощанье.

Да что Георгию Константиновичу до того, как у них иная жизнь образовалась? Для него важен факт. А факт такой, что был устроен скандал с рукоприкладством и что в курсе этого скандала не только дежурный врач, но и больные. И вывод он сделает единственный: уволить...

С этим Валентина и заснула, уронив тяжелую, не ставшую легче от выплаканных слез голову на журнал назначений. Разбудил ее «среднячок» из первого люкса, который, — она взглянула на часы — шести еще не было, прошагал мимо бодрым шагом. Он отправился бегать от инфаркта.

Что ж от дежурства ее никто не отстранял, и она процедурную, достала из шкафчика и холодильника загодя приготовленные микстуры, отвары, и как только пропикало по радио семь часов, стала разносить их по палатам. Боялась, что «теща» из шестой пристанет с расспросами, и тогда как бы снова не разреветься, но та еще спала. Вот, когда ставила в шестой на столик целый поднос лекарств, и пришла в голову спасительная мысль. Дура она дура, ведь все должно обойтись! Сейчас придет она в восьмую — сюда по утрам назначено приносить «Боржоми» — и «Чей-то сын», конечно же, начнет извиняться перед ней, и она тоже попросит прощения, объяснит, что не сдержалась, потому как заболела дочка и, кто знает, может, серьезно. И они вместе пойдут к главврачу, и «Чей-то сын», ведь он — спортсмен, а они сплошь благородные люди, — всю вину возьмет на себя, и Георгию Константиновичу ничего не останется, как пожурить ее, и на этом конфликт будет исчерпан. Ну, конечно, так и будет.

Войдя в восьмую, еще не видя «Чьего-то сына», Валентина поняла, что он уже встал — ваза на столе стояла пустая и в комнате нигде не видно бутылок. Дверь на балкон была открыта — чтоб проветрить помещение, догадалась она, — и там в кресле сидел «Чей-то сын» и читал «Советский спорт». Когда она ставила боржом и стукнула нарочно бутылкой по вазе, чтоб привлечь его внимание, он быстро обернулся, увидел ее и тут же демонстративно уткнулся в газету.

«Ну вот и все!» — подумала Валентина, и будто оборвалось что-то внутри. Наступило полное равнодушие ко всему, ни о чем не хотелось думать, и, когда

пришла сменять ее Мария Алексеевна и стала расспрашивать, почему заплакана, что случилось, она коротко ответила «да так, ничего», хотя Мария Алексеевна очень хорошо к ней относилась и уж наверняка посочувствовала бы, а может, и подсказала бы что-нибудь путное.

Без пятнадцати девять Валентина спустилась вниз. Перед кабинетом главврача размещался небольшой холл, где стояли будка телефона-автомата, откуда больные звонили в город, и семь или восемь кресел — желающих поговорить с родственниками, знакомыми, сослуживцами всегда хватало, особенно по вечерам. В одном из кресел, поближе к кабинету главврача уже сидела Стервоза. Она кивнула Валентине: садись, мол, но ничего не сказала. Валентина тоже не собиралась начинать разговор. Просидели молча минуты три. Мимо них потихонечку побрели на завтрак больные с первого этажа — самые тихиходы. Потом, они и не заметили, как он появился, в будку телефона вошел «Чей-то сын». И хотя дверь закрыл плотно, было отчетливо слышно каждое слово:

— Батя, это ты? Привет! Знаешь что, пришли срочно машину... Надоело... Да просто надоело, и все... Не пришьешь, уеду автобусом... Значит, договорились. Езды сюда полтора часа. Пол-одиннадцатого жду у главных ворот. И накажи Лешке, чтоб не вздумал никуда заворачивать по дороге... Какому Лешке? Ну, Алексею Ивановичу, если хочешь. До встречи!

Когда «Чей-то сын» выходил из будки и на какое-то мгновение оказался к ним лицом к лицу. Валентина увидела, что нос у него здорово распух, — то-то болит у

нее правая рука. Стервоза посмотрела на Валентину и ехидно улыбнулась. «Ну что, голубушка, — читалось в ее глазах. — Если и была у тебя надежда замять это дело, распрощись с ней, ничего не выйдет. Допрыгалась!».

Без пяти девять пришел Георгий Константинович, кивнул им, коротко бросил: «Если ко мне — напрасно, я на пятнадцать минут, не больше. Приходите завтра». Стервоза подскочила к нему и прошептала что-то, Валентина разобрала одно лишь слово «ЧП». Георгий Константинович посмотрел на часы, сказал недовольно: «Ну только быстро, быстро» — и, открыв дверь кабинета, припустил вперед Стервозу, а Валентине сказал: «А вы пока подождите».

Когда, спустя десять минут, Валентина вошла в кабинет главврача, у нее начисто вылетело из головы все, что она придумывала ночью для этого разговора.

Георгий Константинович стоял за столом, и лицо его было багровым от возмущения.

— Правильно мне доложила Руфина Сергеевна? — строго спросил он.

— Правильно, — ответила Валентина, хотя и знала, что Стервоза могла наговорить чего угодно.

— Ну, хорошо хоть, что не отпираетесь, — тяжело вздохнул главврач. — Вы понимаете, что вы натворили. Вам, конечно, не место у нас. Даже если б я лично и простил вас, то меня не понял бы коллектив. Ведь квартальной премии теперь не видать никому. А может, и годовой. О знамени и нечего мечтать. Полину Александровну придется освободить от должности зав. отделением. Ну а мне, милая, вы обеспечили как минимум вы-

говор. А то и попросят кресло освободить... — При мысли об этом Георгия Константиновича аж всего передернуло... — Нет, милая, от таких, как вы, надо решительно освобождаться. Мордобой в лечебном учреждении! Права Руфина Сергеевна: такого еще не было в истории отечественной медицины. Да что отечественной — в мировой! Нет, какой позор, какой позор! — Тут он сделал паузу и потом уже более спокойно, деловито заключил. — В общем, от работы я вас, безусловно, отстраняю. По какой статье увольнять будем, извините, я не юрист, не знаю. Завтра свяжусь с Минздравом, там подскажут. Все, я вас больше не задерживаю. Вы и так отняли у меня время, которое предназначалось совсем для других дел.

Валентина подумала, что надо все-таки что-то сказать в свое оправдание, попытаться объяснить, что по совести-то не виновата она, но вдруг отчетливо поняла, что любые слова будут напрасны. И, поняв это, она повернулась и, даже не сказав «до свидания», вышла из кабинета.

Домой Валентина брела, ничего не видя, точно в тумане. По пути кто-то поздоровался с ней, она кивнула, а кто это был, не узнала. И все представлялась сценка, как Сашечка, сынок Полины Александровны, они с Диночкой в одной группе и всегда неразлучны, спросит воспитательницу: «Тетя Света, а где Дина Баланчикова?» А Света ответит: «Дина Баланчикова, Саша, больше не будет ходить в наш садик». — «Почему?» — спросит Саша. «А потому, — ответит Света, — что ее маму уволили. За недостойный поступок». И тут Валентина начи-

нала плакать, хотя, казалось, все уже выплакалось там, на работе. На бывшей теперь работе.

Дверь не сразу открылась — мелко и противно дрожали руки. Наконец, замок щелкнул, и она вошла в квартиру. У Диночкиной кровати сидел на корточках Федор и показывал дочке книжку — видно, по пути купил, в вокзальном киоске. Федор обернулся, увидел жену, и лицо его сразу расплылось в широкой улыбке. Она хотела крикнуть: «Дурачок, чему радуешься, ведь кончилась наша благополучная жизнь», но он опередил ее, шагнул навстречу и выпалил:

— Ну ты у меня и молоток, Валюха! Владимировна мне доложила, как ты его, сукиного сына, колшматила. Будет знать наших!

Тут она и сказала, не крикнула, как хотела, а сказала тихо и жалобно:

— Дурачок, чему радуешься, ведь уволят меня.

— Ну и чо? — спокойно ответил Федор.

И услышав это его всегдашнее «чо», от которого она так и не смогла отучить мужа, Валентина вдруг поняла — словно нашло какое озарение — что любит Федора. И пусть ростом он невысок, и пусть другим кажется некрасивым, пусть грамотенки у него не хватает, ну и пусть! пусть! пусть! — но она любит его и будет любить всегда. Предано, нежно, желанно. И снова слезы закапали из ее глаз, но это были счастливые слезы.

Пойми этих женщин, отчего они плачут. Федор, конечно, решил, что причина слез другая, та, о которой сказала сама Валентина. И, стараясь утешить жену, он прижал ее голову к своей груди, стал медленно погла-

живать волосы, точь-в-точь как Диночку перед тем как та уснет, и тихо, чуть ли не шепотом, заговорил:

— Ну и чо? Свет, чо ли, сошелся клином на вашей богадельне? Вернемся домой. Дед вон с бабкой зовут. А то махнем на Дальний Восток. А чо? Помнишь, кореш мой письмо прислал? Отличные условия. Триста рэ я там запросто намантулю, и у тебя дальневосточная надбавка будет. А природа там — шик-блеск, почище Крыма. Арбузы даже вызревают. Насажаю арбузов — вот Диночке радость...

Федор еще что-то говорил — веселое, ободряющее, но Валентина не слышала этих слов. Она слышала только, как, успокаивая ее, четко и ровно бьется его сердце.

1987 г.

СМЕРТЬ СЕРЖАНТА ЛЕВОЧКИНОЙ

Не знаю, как сейчас, а в годы застоя были популярны коллективные поездки в лес за грибами. Начиная с первой декады августа и до середины сентября, по пятницам, ближе к полуночи, метро наполняли пассажиры в повидавших виды плащах и телогрейках; давно просившихся в утиль, но специально хранимых для такого случая шляпах, кепках и беретах; в непременных резиновых сапогах и с корзинами разной конфигурации и величины. Любители «тихой охоты» спешили к проходным своим предприятий, откуда их везли в заповедные места автобусы, оплаченные профкомами по статье «культурно-массовая работа».

В редакции газеты, где я тогда служил, грибников тоже было немало. Как правило, наши ночные автобусные экспедиции совершались в Ярославскую или Владимирскую область, или, на худой конец, в какой-нибудь отдаленный глухой район Московской. С наступлением слякотной и холодной погоды число энтузиастов поохотиться за подосиновиками и опятами заметно убывало, и тогда взамен «Икаруса» нам выделялся «рафик», в котором могли разместиться от силы восемь человек, даже, если корзины сгрудить в проходе и сидеть всю дорогу скрючившись, не имея возможности вытянуть ноги.

В ту поездку, помнится, она была последней в сезоне, пас отправилось пятеро. Кроме меня, еще старший выпускающий Дмитрий Павлович Чекрыжов, верстальщик Виктор Васильевич Макаров и заместитель

ответственного секретаря Анатолий Вениаминович Соловьев, прихвативший с собой соседа, который был представлен нам как Иван Михайлович Михайлов, ведущий архитектор проектно-строительного института и, между прочим, убежденный старый холостяк. В этой компании я оказался самым молодым, мне тогда только что стукнуло сорок, а мои сослуживцы уже приближались к пенсионному возрасту, да и новый наш товарищ по грибной утехе, судя по седому ежику и заметно обрюзгшему лицу, был их ровесником или самую малость моложе.

В путь мы отправились около часа ночи. После жаркой дискуссии, в ходе которой было названо несколько адресов, где грибы обязаны расти до поздней осени. Решили далеко не забираться, а поехать под Верю. Здесь, как клятвенно заверил Виктор Васильевич, боровиков он нам не гарантирует, но чернушек для засолки по корзине мы уж точно наберем. Так как выбран был его маршрут, он перебрался на сиденье рядом с водителем, чтобы тот не пропустил нужный поворот, а мы, оставшись втроем в салоне, получили возможность устроиться на ночевку, можно сказать, в самых комфортных условиях. По крайней мере я заснул мгновенно и проспал бы, наверное, всю дорогу, если бы не вынужденная остановка — неожиданно заглох мотор.

Водитель Володя, молоденький парнишка, тоже, кстати, заядлый грибник, добровольно вызвавшийся отправиться с нами в поездку, смущенно объяснил, что поломка, видимо, серьезная, а машина ему не очень знакома, так что повозиться придется основательно. Автомобиль тогда еще считался роскошью, мы же все бы-

ли люди, как говорится, среднего достатка, так что среди нас не оказалось ни одного хоть мало-мальски сведущего в устройстве двигателей внутреннего сгорания, а потому ни делом, ни советом помочь мы Володе не могли. Для приличия потоптавшись немного у кабины и выразив сочувствие шоферу, мы забрались в «рафик» с намерением поспать, сколько придется, но минут через пять выяснилось, что сон поголовно у всех пропал, и тогда Дмитрий Павлович, человек весьма рассудительный, предложил слегка перекусить, чтобы как-то сократить время.

Естественно, бутерброды с колбасой и яйца вкрутую запивали мы водочкой — у каждого была припасена бутылка, которую предполагалось осушить после окончания экспедиции, но уж раз случилась непредвиденная остановка, то, как выразился Дмитрий Павлович, «что ее, родимую, беречь, на обратном пути приторможим у первого же сельпо — и нет проблем!»

Русский человек, как известно, употребляет спиртное исключительно для того, чтобы всласть поговорить по душам, и мы тоже не стали тут исключением. Вначале разговор вертелся вокруг предмета нашей экспедиции — где, когда и сколько было собрано каждым белых, груздей или рыжиков, какие у кого рецепты засолки и маринования, правда ли, что французы едят мухоморы, а немцы, те, вроде бы, вообще, кроме лисичек, никаких других грибов не признают. Вот, когда помянули немцев, и начались военные воспоминания.

Все мои спутники были фронтовиками, а Дмитрий Павлович и первый-то бой принял совсем неподалеку отсюда, у деревни Петрищево, где казнили знаменитую

Зою Космодемьянскую. Выпили за светлую ее память, помолчали, а потом тот же Дмитрий Павлович, аккуратно шелуша очередное яйцо, со вздохом заметил, что, конечно, Зоя совершила подвиг, но скорее в плане моральном, а в военном отношении ее действия никакой пользы не принесли, и конюшня, которую она пыталась поджечь, совсем неподходящий объект для партизанской диверсии. По ее разумению, надо было найти, к примеру, штаб или склад с горючим. Да только какой спрос с девчонки, которая вчера еще в куклы играла и никакого понятия не имела о войне. А война, мать ее туды, — штука страшная и мерзкая, и совсем не женского ума дело.

Тут разгорелся небольшой спор, насколько вообще оправданно участие женщин в боевых действиях. Сошлись па том, что мера эта была вынужденная, и что, конечно, без санитарок или там прачек армия обойтись не может. Согласились, что толк был и от летчиц, правда, сбивали их немцы нещадно. Ну, еще некоторые девушки, занимавшиеся стрельбой в кружках ОСОВИА-ХИМа, вполне годились в снайперы. У Анатолия Вениаминовича в полку была снайпер Маруся, фамилию он запомнил, — да ее никто по фамилии и не звал, а только по имени, — так она за полгода записала на свой счет восемнадцать фрицев.

А погибла чисто по женской глупости. Ведь женщина она везде остается женщиной, старается при любом удобном случае красоту навести. Вот и эта Маруся, находясь на огневой позиции, вытащила зеркальце из нагрудного кармана, может, воспользовавшись затишьем, челку хотела поправить или прыщик какой рассмотреть,

а солнечный зайчик выдал ее присутствие, и немец не промахнулся.

Тут-то и взял слово молчавший доселе наш новый знакомый.

— Извините, что вмешиваюсь, но я так полагаю, любая смерть на войне, мужчины ли, женщины, она вроде бы чистая случайность. Ну, не сделай мой товарищ полшага в сторону и не подорвался бы на mine, не выскочи наш комбат по малой нужде из блиндажа, и пролетела бы впустую шальная немецкая пуля. А все же есть какая-то таинственная предопределенность в том, что одни погибают, а другие, вот как мы, остаются живы. Если не возражаете, расскажу про смерть одной девушки, а уж вы рассудите, как считать ее гибель — глупой, безрассудной или еще какой.

Иван Михайлович отхлебнул немного из кружки, зажевал корочкой и, справедливо посчитав наше молчание за знак согласия выслушать его рассказ, откашлялся в кулак, закурил сигарету и повел свое повествование ровным хрипловатым голосом, делая редкие паузы, когда хотел затянуться поглубже.

— Не знаю, как у вас, писателей-журналистов, полагается об этом предупреждать или нет, только, хотя история фактическая, и я лично был ее свидетелем с первого, можно сказать, момента, но вот про самый ее конец, это мне уж потом в госпитале стало известно.

Значит, вначале обрисую обстановку. Май сорок третьего года. Сталинград позади. И мы и немцы готовимся к Курской битве. Величайшему, как потом историки определяют, сражению Второй мировой войны. Но до нее еще почти два месяца, и тут нам выпадает ред-

кая удача. Часть наша вошла в 52-ую армию, а та в Степной военный округ. Если помните, был такой недолгое время. Потом, когда битва началась, переименовали его в Степной фронт, а уж в конце осени во 2-ой Украинский. Располагались мы в глубоком тылу, километрах в ста от передовой. Словом, находились вдали от бомбежек и артобстрелов, считайте, почти как на отдыхе. Боевой задачей нашего саперного извода являлось сооружение небольшого укрепрайона в излучине одной речушки, впадающей в Оскол, а в дальнейшем, если обстоятельства вынудят, возведение переправы для подтягивания резервов к фронту. Теперь-то я понимаю, что эта работа делалась фактически для вида, чтобы ввести в заблуждение противника, а на деле маршруты переброски войск нашими генералами определены были совсем другие. Но для полного правдоподобия в том месте, где якобы предполагалось навести мост, была установлена для его охраны зенитная батарея. Батарея — это, конечно, сильно сказано. Две 37-миллиметровые пушечки да крупнокалиберный пулемет ДШК. А боевой расчет этого артиллерийского соединения составляли одни девчата, и командиром над ними была сержант Катя Левочкина, о которой и будет моя история.

У вас, конечно же, сразу может возникнуть предположение, что между зенитчицами и саперами вовсю вкрутились военно-полевые романы. Так вот, ничего подобного не происходило, хотя обстоятельства вроде бы должны были способствовать этому. Находились мы в каком-нибудь километре друг от друга — они на опушке рощицы, спускавшейся к речке, а наш взвод в

бывшем хуторке, от которого после немецких наступлений и отступлений остались пять печных труб, пара полуразрушенных обгоревших сараюшек, служивших раньше пристанищем для домашней животины, и густые палисадники сирени. В общем, как бы это поточнее сказать, фактически отношения между нами установились, как в большой семье, где старшие братья опекают сестренку. Ко всему прочему можно дать и такое объяснение, зенитчицы все были городские недотроги, вчерашние студентки с математических факультетов — в артиллерии ведь главное быстро произвести точный расчет. Ну, а в саперы-строители, сами, небось, знаете, направляли мужиков без особого образования, как правило, уже женатых и многодетных, все больше колхозничков, кроме лопаты, пилы, молотка да топора другой техники не знавших. Словом, для любовной ситуации чумазые землекопы-плотники и аккуратненькие защитницы чистого неба, согласитесь, совсем не подходящий вариант.

Так тихо-благородно и продолжалось это добрососедство, пока не получили саперы пополнения в лице нового командира взвода младшего лейтенанта... — Тут Иван Михайлович вздохнул и сделал паузу, видимо, вспоминал его фамилию, а она оказалась проще простой — ... Михаила Иванова. Прежний комвзвода был ранен, находился на излечении в воронежском госпитале, и когда вернется в строй никто не знал, а пока его обязанности исполнял старшина Лепикаш, сорокалетний хохол, коренастый, жилистый, спорый в работе, но за нею никогда не гонявшийся. Надо сказать, что под его руководством и при личном участии блиндажик

девчатам-зенитчицам саперы соорудили по высшему разряду. В таком и штаб дивизии не стыдно было бы разместить...

Иван Михайлович снова замолчал и обвел нас смущенным взглядом:

— Извините, товарищи, может, это совсем лишние подробности? Я ведь их привожу просто для лучшего уяснения фактического положения дел на тот момент. Может, надо как-нибудь покороче, а?

— Все путем! Валяйте дальше в том же духе! — подбодрил соседа Анатолий Вениаминович.

Тот, получив одобрение, прикурил от гаснувшей сигареты новую и продолжил рассказ.

— Значит, события стали развиваться следующим образом. Миша Иванов, хоть он и хорохорился, старался выглядеть солидно, и приказы отдавал строгим голосом, по фактически был наивным мальчишкой девятнадцати с небольшим лет. Призвали его со второго курса строительного института, быстренько погоняли на курсах младших командиров, выдали новенькое обмундирование, гимнастерку уже с погонами, сапоги, правда, не хромовые — яловые, и отправили в действующие войска. Он, когда назначение получил, воображал, что сразу попадет в боевую обстановку, все прикидывал, как вести себя под обстрелом противника, чтоб, не дай Бог, труса не праздновать, А если придется в рукопашную идти, то как орудовать саперной лопаткой? На курсах висел плакат, где были показаны разные приемы действия этим шанцевым инструментом, но практического обучения не было.

В общем, ехал юноша в самое пекло войны, а попал в цветущий сиреневый сад, где ночами заливаются соловьи, где по пояс стоят некошеные душистые травы, где журчит тихонько речка, а по-над берегом в березовой рощице еще один цветник — девичий.

Что там долго говорить, в день прибытия на место прохождения службы встретила младшему лейтенанту девушка-сержант, и влюбился он в нее с первого взгляда. Ну, а после третьей или четвертой встречи и она призналась в ответном чувстве.

Нельзя сказать, чтобы Миша Иванов был красавцем. Долговязый, лицо самое обыкновенное, к тому же по причине фактического недоедания худое, скулы выпирают. Фигура, правда, стройная, подтянутая — в школе и институте волейболом увлекался. Самым приметным, пожалуй, были у него волосы — темно-русые, отливающие золотом, по природе волнистые, да только стриг он их «под бокс» — тогдашнюю модную короткую прическу.

Катя Левочкина, если честно, тоже красотой не блистала. Маленького росточка, пухленькая, круглолицая, носик вздернутый, но глаза большие и синющие-синющие. В таких, как говорится, утонуть можно. Вот младший лейтенант и утонул. А, действительно, товарищи, ведь это та еще загадка природы: как находят друг друга влюбленные?! Среди зенитчиц девчата были просто загляденье, а вот, как магнитом, притянула к себе Мишу далеко не самая из них симпатичная.

Фактически и у него и у нее это было первое настоящее большое и сильное чувство. Нельзя же, согласитесь, брать в расчет любовные записочки в десятом

классе да прижимания на студенческих вечеринках, когда патефон заиграет буржуазный танец танго. И как всякая первая любовь была она у них чистой и робкой. Может, дошло бы дело и дальше нежных слов и поцелуев, только срок их счастью отпущен был очень короткий — всего неделя. Точнее — семь вечеров. Днем, как ни крути, требовалось исполнять службу.

Саперы с пониманием отнеслись к сердечным страданиям своего нового командира, как бы сейчас сказали, «болели» за него. Ну, безусловно, не обходилось без шуточек и многозначительных подмигиваний. Что касается девчат-зенитчиц, подозреваю, каждая, наверное, все-таки немножко завидовала, что не она стала предметом обожания.

Теперь перехожу к их последнему свиданию...

Голос у Ивана Михайловича дрогнул, он сделал глубокую затяжку и, видно, перебрав дыма, зашелся в кашле. Чтобы подавить его, отхлебнул пару глотков из кружки, но закусывать не стал, а просто обтер ладонью губы и, извиняюще улыбнувшись, пробормотал: «Не берет она меня что-то сегодня». Заканчивал он свой рассказ несколько сбивчиво, порой с трудом подбирая слова, уставившись в одну точку.

— На последнее свидание с Катей Мишу будто кто-то подгонял. Солнце только-только стало клониться к западу, а он уже и побрился, да и брить-то еще особо нечего было, и подворотничок на гимнастерке сменил, и сапоги надраил, и все на часы поглядывал.

Старшина Лепикаш не выдержал, подошел, сказал тихонько, мол, вы уж не томитесь, товарищ младший лейтенант, ступайте куда собрались. Ему, то есть стар-

шине, не впервой на хозяйстве оставаться, так что порядок будет обеспечен, да и никаких проверяющих, по его данным, сегодня не будет. Ну, а уж если вдруг понадобится начальству командир взвода, то тут добежать недалеко.

Миша, естественно, обрадовался, но, боясь уронить себя в глазах подчиненного, пролепетал смущенно, что пусть товарищ старшина ничего такого не думает, а идет он к зенитчицам сугубо по делу — те хотят еще одну запасную огневую позицию оборудовать и попросили посоветовать, где ее лучше разместить. Вот он и хочет, пока светло, сориентироваться на местности.

Хитрый хохол, конечно, знал, к кому и зачем идет его командир, но игру принял и понимающе кивал головой. А потом сорвал с куста белой сирени большую пушистую ветку и, протянув ее Мише, сказал, что, хотя тот и направляется на батарею по серьезному делу, однако к девушкам все-таки без цветов приходиться неудобно. И еще он посоветовал прихватить плащ-палатку, потому как на небе появилась темная хмара.

Тут, скажу вам, щеки у младшего лейтенанта совсем пунцовыми стали, но он безропотно взял и ветку сирени и плащ-палатку и пошел по знакомой уже тропинке к рощице. Саперы, сгрудившись в кучу, наблюдали с улыбкой, как их командир, начав идти подчеркнута неторопливо, все убыстряет и убыстряет шаг. Понятно было, что торопит его любовь. Когда Миша Иванов отшагал, наверное, уже две трети пути, бойцы услышали зловещий рокот мотора. Из-под той самой темной тучки, на которую показывал старшина Лепикаш, вынырнул и устремился в их сторону немецкий истребитель-

штурмовик. В типах самолетов саперы не шибко разбирались, и у всех осталось убеждение, что это был ненавистный «мессер». Странно, что он летел один. Видно, где-то еще у линии фронта откололи его от стаи наши «ястребки», да упустили из виду, и теперь он был безумно зол, и ему хотелось поскорее облегчить свое брюхо.

«Воздух!» — пронзительно закричат старшина, и бойцы скатились в траншею. Но наш фальшивый укреп-район фашиста не заинтересовал. Он на бреющем пролетел над хуторком и пошел напрямиком на рощицу.

Миша Иванов, когда тоже увидел приближающийся самолет, отпрыгнул с тропинки в густую траву, вжался лицом в землю и замер, боясь пошевелиться. А потом он услышал пальбу зениток, а потом разрывы бомб. «Значит, девчата промазали» — с жалостью подумал он и поднял голову. Над рощицей, где стояла батарея, поднимались густые клубы дыма. Ему послышались, а может, просто почудились женские крики и стоны, и вроде один голос был Катин. Он вскочил и побежал к батарее.

А в это время немец, сделав крутой вираж, спикировал на рощицу и сбросил, видимо, последнюю бомбу, потому что больше не стал набирать высоту и разворачиваться, а взял обратный курс на запад. И тут он увидел, что на пути его стоит русский офицер. Он догадался, что это офицер, потому что тот, стрелял в его самолет из пистолета — единственного офицерского оружия. «До чего же тупы эти русские! — наверное, подумал немецкий летчик. — Он что, не понимает, что пули его хилого ТТ лишь поцарапают обшивку моего металличе-

ского красавца? Он что, забыл, что сделан из костей и мяса, которые очень легко перерезать свинцовой очередью?» И «мессер» слегка клюнул носом и в упор выпустил в безрассудного русского офицера смертоносную струю.

Миша попятился, будто его изо всей силы толкнули в грудь и рухнул на спину. А немец, пролетая над траншеей, где укрывались саперы, торжествующе-насмешливо покачал крыльями: мол, я свое дело сделал, ауфвидерзеен!

Саперы видели, как нелепо погибал их комвзвода. И как только «мессер» показал им хвост, выскочили из укрытия и побежали туда, где упал младший лейтенант Михаил Иванов. А еще раньше из дымящейся рощицы выскочила девушка зенитчица. Расстояние между ними было большое, и саперы, конечно, не могли разглядеть ее, но они и так знали, что это сержант Катя Левочкина, светлая любовь их молоденького командира.

А Миша Иванов лежал неподвижно, прижав к сердцу багряно-красную гроздь сирени. Любимая девушка склонилась над ним и стала целовать его лоб, губы, закрытые глаза. Подбежали саперы, молча встали полукругом. Потом старшина Лепикаш медленно снял пилотку, нагнулся к Кате, легонько отстранил ее и тихо приказал бойцам расстелить плащ-палатку и положить на нее младшего лейтенанта. Пока укладывали Мишу на зеленый брезент, Катя увидела в траве пистолет, подняла его, прислонила к груди и стала тихо покачивать, будто убаюкивала ребенка. Саперы, озабоченные тем, как будет сподручнее нести своего командира, не

обращали на нее внимания и оглянулись только тогда, когда раздался глухой звук выстрела...

— Вот и вся, товарищи, история, — заключил Иван Михайлович и начал прикуривать новую сигарету.

Никто из нас не проронил ни слова, и неизвестно, сколь долго продолжалось бы это гнетущее молчание, если бы не распахнулась дверца «рафика» и не объявил бы шофер Володя радостным голосом.

— Полный порядок! Можем ехать аж до Смоленска!

Виктор Васильевич нас не подвел. Лес, куда мы прикатили, действительно оказался грибным. В основном росли в нем не поштучно, а целыми семьями черные грузди, снисходительно называемые чернушками, и поздние подберезовики — стройные крепыши с темно-коричневыми матовыми шляпками. Посчастливилось мне углядеть в опавшей листве тройку белых, и еще срезал несчитанное число сыроежек да десятка два фиолетовых рядовок — их дилетанты обходят стороной, а то и брезгливо сшибают сапогом, принимая за поганки, хотя этот гриб хорош и в жареном виде и для засолки. Словом, к «рафику», который оставлен был под присмотром шофера на большой светлой поляне, перепоясанной нешироким ручейком, я вернулся первым. Справедливости ради скажу: управился я быстрее всех не потому, что такой уж грибной ас, а потому, что как раз не переоцениваю своих охотничьих способностей в поиске трубчатых и пластинчатых и корзину беру с собой весьма скромных размеров.

Володя несказанно обрадовался моему раннему возвращению. Он дал мне наказ через каждые пятна-

дцать-двадцать минут сигналить, чтобы наши могли выйти на этот звуковой маяк, подхватил свое шоферское ведерко, заменившее ему корзину, и рванул в лес наверстывать упущенное.

А денек выдался на редкость погожий. Небо ясное, безоблачное. Солнце припекает совсем по-летнему. С берез с легким шелестом слетают, кружась, листья. На уже оголенные веточки рябины пауки развесили серебристые кружева. Какая-то пичуга робко тренькает незамысловатую песенку. Я расстелил у кабины «рафика» телогрейку, снял сапоги, устроил их вместо подушки, лег, вытянувшись во всю длину, сладко зевнул и задремал. Перед глазами поплыли грибы, которые я только что собирал, и встреченная по пути куртинка больших лесных ромашек, и горевший красным костерком молодой клен и бесшабашный зеленый кузнечик, запрыгнувший в мою корзину.

Проснулся я от всплесков воды. На берегу ручейка сидел на корточках спиной ко мне раздетый по пояс Иван Михайлович и, зачерпывая пригоршнями воду, плескал ее себе на грудь, на плечи, на бока, а, изловчившись, и на широкую покатую спину. Закончив эту процедуру, — судя по довольному побряхтыванию, доставившую ему немалое удовольствие, он разогнулся, — снял подотканную под брючный ремень ковбойку и не спеша стал растираться ею. Может, потому что солнце светило ему в глаза, и он не заметил, что я не сплю, а может, просто потому, что давно привык к своему телу, Иван Михайлович без смущения выставил его, что называется, напоказ. Я невольно содрогнулся, увидев, что почти от самого левого соска и до бедра кожа была стя-

нута в огромный уродливый рубец, почему-то напомнивший мне лунный кратер, снимок которого был недавно напечатан в нашей газете.

Иван Михайлович постоял минуту-другую, подставив свое искореженное тело ласковым солнечным лучам, потом, решив, что оно уже достаточно обсохло, натянул майку, влажную ковбойку повесил для просушки на ближайший куст, вытащил из кармана брюк пачку сигарет и спички, закурил, сделал глубокую затяжку, выпустил колечками дым и широко улыбнулся каким-то своим хорошим добрым мыслям.

Солнце светило вовсю, и под его лучами седой ежик Ивана Михайловича отливал золотом.

1995 г.

ОСЕННИЙ ЭТЮД

Десятый сентябрь подряд приезжал сюда Алексей Васильевич.

— Ну нет, я снова на этюды, — охотно и не без гордости объяснял он, когда заходил разговор об отпуске, и кто-нибудь из сослуживцев начинал агитировать за Сочи или Ялту. Мол, путевку фирма оплатит, а на дорогу как-нибудь сам наскребешь. Там же сейчас благодать. Море. Солнце. Бархатный сезон. А тут зарядят дожди — считай, как и не отдыхал.

— Из двадцати-то четырех дней неделька ясной погоды обязательно наберется, — улыбался Алексей Васильевич, довольный, что вот находятся люди, которым не дано понять простых и счастливых истин. — Золотая осень в Подмосковье — это же волшебство!

— Ну-ну, — качал головой сослуживец. — Охота — пуще неволи. — И добавлял, скучнея. — Тогда за вами этюдик.

Говорилось это из вежливости, потому как художником Алексей Васильевич был плохим. Даже принимая во внимание самодеятельный характер его творчества.

Страстная тяга к живописи обнаружилась у него неожиданно, когда уже за сорок пять перевалило. Купил как-то трехлетней внучке краски, принялся учить ее рисовать — домик, деревце, речку. И сам увлекся. Вспомнил, что в школе были у него по рисованию одни пятерки, что стенные газеты он всегда оформлял и в техникуме и в армии. Как жена ни отговаривала, ни стыдила —

«не будь посмешищем на старости лет» — собрался с духом и записался в художественную студию. В те, теперь уже далекие годы, была такая при их заводском Доме культуры. Занимался гам с редким усердием, да только все равно обязательные рисунки гипсовых курчавых юношей и натюрморты с кувшинами, стаканами, редиской или яблоками — в зависимости от сезона, неизменной краюхой черного хлеба у него решительно не получались. Все чаще раздавались за его спиной протяжные вздохи руководителя студии Юрия Ивановича, молоденького стеснительного бородача. Но тайного намека, заключенного в этих вздохах, Алексей Васильевич не понимал и продолжал прилежно ходить на занятия. Наконец, бородатый открыватель самородков, страшно конфузясь, предложил.

— Ммм... А не попробовать ли вам, Алексей Васильевич, писать пейзажи? Знаете, многие большие мастера этого жанра были никудышными портретистами и даже простенькие натюрморты им никак не давались. К примеру, великий Шишкин не рискнул самостоятельно написать мишек в своей знаменитой картине и попросил сделать это Савицкого, художника занимающего в истории русского изобразительного искусства более скромное место, чем он. Так что вам нет особого смысла тратить время на студийные занятия. Просто почаще ездите на этюды, л

— А и то, — ничуть не обидевшись, согласился Алексей Васильевич. — Я и сам заметил, когда Аленке разные сказочные картинки рисую, деревья и цветы лучше всего у меня получаются.

И стал Алексей Васильевич ездить на этюды. В выходные не всегда удавалось, домашними делами жена загружала. Ну, а уж отпуск — тут извините. Тут он брал путевку в заводской дом отдыха на полный срок и, забывая обо всем на свете, с упоением малевал свои этюды.

Дом отдыха располагался в тихом укромном месте. Даже не верилось, что от шумно-суетливой, насквозь пропахшей автомобильным потом Москвы всего двадцать пять минут езды на электричке, ну и еще пешочком от платформы километра четыре. К приземистому, незатейливой архитектуры зданию пролетарской здравницы с трех сторон подступал лес, а на четвертой, северной лежал в низинке довольно большой пруд с заросшими невысокой осокой берегами. Пруд облюбовали дикие утки, которые, похоже, в здешних местах одомашнились и без опаски подплывали почти к самой кромке берега, когда отдыхающие начинали бросать в воду кусочки хлеба.

Если вечер был теплый, утки изредка крякали, довольные спокойной и сытной жизнью, лениво плескались и, взлетая, глухо били крыльями по воде. А еще тренькали синицы, перешептывались потревоженные ветром опавшие листья, убаюкивающей чуть слышной дробью постукивал в окно дождь. В лесу пахло грибами, точнее, не просто грибами, а будто вдыхаешь этот грибной дух через распаренный березовый веник. Ну, а краски осени — все оттенки желтого и еще малахитовая зелень елок, чернота уже оголенных кустов ольшаника, лунный отсвет берез, темное серебро стилой воды — как перенести их на холст?!..

Алексей Васильевич аккуратненько срисовывает противоположный берег пруда, по одному выписывая листы осоки, когда мимо прошла, кивнув ему головой, пожилая женщина, можно сказать, уже старушка в черном кружевном платке и красном демисезонном пальто. Ее лица он не увидел, потому как был поглощен работой и не сразу сообразил, что кивок адресован ему. Но, глядя ей в спину, по грузнеющей фигуре, осторожной шаркающей походке, а главное, по этому пальто, бывшему когда-то последним криком периферийной моды, он узнал женщину, которую встречал здесь несколько раз в прежние свои приезды. На ней всегда было это бросающееся в глаза пальто.

Алексей Васильевич невольно отметил, что женщина одна. Раньше ее непременно сопровождал муж — высокий, худой, нескладный старик с седыми отвислыми усами. Его наряд тоже был постоянен — серая шляпа и такого же цвета плащ, висевший на нем мешком. Алексей Васильевич припомнил, как в позапрошлом, кажется, году он, возвращаясь с этюдов, обогнал эту пару примерно на этом же месте и стал нечаянным слушателем короткого разговора между ними. Она, смешно семеня на цыпочках, на ходу поправляла мужу шарф и с нарочитой строгостью выговаривала.

— Ты, Паша, прям, как ребенок. Все время расхристанный. Снова заболеть хочешь?

— Ну, Оленька, — оправдывался старик, — вечер же совсем теплый, и ветра нет.

И столько в их голосах звучало нежности, что Алексей Васильевич с тихой завистью подумал: «Вот, поди ж ты, оба в старческом возрасте, а как любят друг друга!».

И еще припомнилось сейчас, что он тогда шел и все прикидывал, отпраздновали ли они уже золотую свадьбу. Старику-то явно под восемьдесят, ну а ей все-таки не больше шестидесяти- шестидесяти пяти, так что навряд ли. И потом еще не раз в тот день возвращался он мыслями к этой трогательной паре, и непонятно почему охватывала его спокойная умиротворяющая грусть...

Когда Алексей Васильевич очнулся от воспоминаний, старушка в красном пальто уже сидела на лавочке на том берегу пруда. Верный принципам реализма, он принялся и ее переносить на холст.

Сзади раздаюсь вежливое покашливание. Это давал о себе знать Володя — работник дома отдыха с неопределенным кругом обязанностей. Зимой он выдавал лыжи, а в остальные времена года был, по его собственному определению, «на подхвате» — то мебель надо перетаскать, то скамейки покрасить, то декоративный кустарник ровненько обрезать, то опавшие листья сгрести в кучки и сжечь. С Володей, который, кстати, был его сверстником, но так всеми и звался просто Володей, Алексей Васильевич познакомился еще лет восемь назад и сразу же установились у них добрые отношения. Несмотря на бестолковую свою службу, был Володя не только усердным читателем журнала «Огонек», но и все репродукции, помещаемые там, рассматривал внимательно, так что имел основание считать себя ценителем живописи. Он подолгу терпеливо и сочувственно наблюдал, как выписывает очередной этюд Алексей Васильевич, и, уходя, обязательно говорил что-нибудь одобрителное: «Похоже! Очень похоже сегодня у вас получилось. Ну, точно, как на открытке».

И сейчас Володя долго молчал, только причмокивал тихонько, следя за неспешными движениями кисти в руке Алексея Васильевича. Потом, когда тот стал смешивать краски, осторожно протянул указательный палец к красному пятну, означавшему сидевшую на лавочке старушку, и спросил чуть слышно:

— Ольгу Николаевну нарисовали? Правильно я угадал? — и, не дожидаясь ответа, добавил, явно повторяя чьи-то слова. — Жалко женщину. Горемычная у нее доля.

— А что так? — поднял голову Алексей Васильевич.

— Так она теперь вдова, — громким шепотом объяснил Володя. — Своего супруга еще по весне схоронила.

«Конечно, об этом я сам бы мог догадаться. С чего бы другого стала носить женщина черный платок?» — укорил себя за плохую наблюдательность Алексей Васильевич и вздохнул.

— Печально на старости лет одной остаться. Тем более, если прожили совместно долгую жизнь.

— Ой, так вы не в курсе их истории? — удивленно воскликнул Володя. — Она у них интересная, хотите, расскажу?

— Не возражаю, — отозвался Алексей Васильевич, правда, без особого энтузиазма, потому как опасался, что рассказчик будет отвлекать от работы, а вот-вот уже начнет темнеть.

Володя наморщил лоб, стараясь придать своей простоватой физиономии серьезное выражение, и глубоко вздохнул:

— Небось, вы наблюдали их раньше и думали, уж больно они подходящие друг для дружки. Потому и решили, что они прожили долгую совместную жизнь. Правильно?

— Пожалуй, правильно, — согласился Алексей Васильевич.

— Вот и я такого мнения придерживался, — покачал головой Володя. — А, оказывается, у них все не так было, как со стороны виделось. Они, можно считать, еще молодоженами оставались, когда он помер. Несколько месяцев всего в законном браке прожили. Мне про их историю женщины из нашего буфета посплетничали, а им подробности сама Ольга Николаевна сообщила. Знаете, когда у человека горе, ему выговориться надо...

Володя умолк на секунду, чтобы снять с плеча опавший кленовый лист, и, осторожно разглаживая его, повел неторопливый рассказ.

— Сюда, значит, приезжали они ежегодно именно 27 сентября. Это у них стало обязательной традицией отмечать день своего знакомства таким образом. Сегодня, получается, четырнадцатая годовщина, как они впервые встретились. В нашем доме отдыха свела их судьба, за один столик посадила. Было ей тогда пятьдесят, а ему шестьдесят один — на одиннадцать лет он старше ее будет. Служил Павел Афанасьевич инженером в каком-то институте, так что путевку сюда ему, наверно, профком в порядке обмена дал, а Ольга Николаевна, она с нашего калужского филиала, трудилась там по простой рабочей специальности — штукатуром в строительной бригаде. У него такая биография. Сооб-

щаю, сами понимаете, со слов наших буфетчиц, а они, женщины любопытные, Ольгу Николаевну капитально расспросили. Так вот, сам он из Ленинграда. Учился там в институте, еще студентом женился и перед самой войной дочку народил. На фронт пошел добровольно, но ранен был и попал в плен. После победы, естественно, отработал несколько лет на стройках коммунизма. Жена и ребенок померли от голода в блокаду. Видно, любил их крепко и новой семьи не стал заводить. А может, просто никому не глянулся или смущало пятно в его биографии. В общем, остался он бобылем. А у нее известная история. Муж пьяницей оказался. По пьянке под машину угодил, остался без ног. Ей же за ним и ухаживать. А он и в таком плачевном состоянии художества свои продолжал. И вот при этой жизненной ситуации, когда хоть в петлю лезь, повстречала женщина, как говорится, свою судьбу, любовь настоящую. Годы, она понимает, уходят стремительно, ловить надо счастье, а калеку как бросишь? И жалко его все-таки, и перед дочерью совестно будет, и люди осудят. Так что, шутка сказать, все эти годы любовь у них была нелегальная, что ли. Все больше переписывались до востребования. Ну, может, раз в квартал подскочит она на выходные в Москву. Вроде бы как за продуктами. Дочь у нее уже взрослая была, сама замужем. Она и в голову не могла взять, что мать, как девчонка, на свидания шастает, думала, та по очередям стоит. А продукты-то Павел Афанасьевич загодя припасал, чтоб, значит, не тратить драгоценное времечко на всякую ерунду...

Володя, видно, здорово расчувствовался, потому как последние фразы произнес совсем тихо. Алексей

Васильевич оторвался от этюдника и заметил с улыбкой:

— Вроде у нас уж лет пять, как снабжение повсеместно наладилось...

Володя, усмехнувшись, посмотрел на Алексея Васильевича и, будто несмышленому мальцу простую задачку объясняет, медленно, чуть ли не по слогам произнес:

— Да и будь в Калуге тогда с продуктами нормально, они, безусловно, еще бы какой-нибудь основательный повод для свиданий нашли. А так они давали объяснение самое обыкновенное и понятное. Ну, а впоследствии, когда, как вы правильно выразились, с продовольствием дело, улучшилось, Ольга Николаевна другие резоны приводила и я своих отлучек. И только когда год назад муж-калека отдал Богу душу, она дочери открылась и к своему долгожданному Павлу Афанасьевичу перебралась. Дочь, хоть тоже женщина, а этот материн поступок понять не сумела, не простила ее. А она, Ольга Николаевна, специально в церковь ходила свечку поставить Богородице, благодарила, значит, что ниспослано было ей на исходе лет истинное счастье. Правильно Пушкин сказал: «любви все возрасты покорны». Только счастье долгим не бывает. Теперь, значит, она осталась одна-одинешенька. Приехала вот поплакать, попечалиться...

Володя свернул лист в трубочку, щелчком сбил его с ладони, давая понять, что рассказ закончен, и исподлобья взглянул на Алексея Васильевича. Тот молчал: что тут скажешь? Тогда Володя попрощался и по обыкновению похвалил:

— Осока у вас очень натуральная получилась.

Он ушел. А Алексей Васильевич еще долго стоял недвижно и смотрел на тот берег, где продолжала сидеть одиноко старая женщина. Потом он перевел взгляд на свой этюд, решительно вскинул кисть и быстрыми мазками написал рядом с красным серое пятно. Длинное и нескладное.

1994 г.

ЧУЖИЕ ПИСЬМА

Сергей Разгуляев, тридцатидвухлетний телохранитель известного московского бизнесмена, проснулся в тот день довольно поздно с тяжелой от похмелья головой. Его босс накануне улетел в Швейцарию проворачивать очередное дельце, взял с собой только начальника охраны, и у остальных появилась возможность расслабиться. Они и расслабились. Там же в кабаке Сергей «снял» совсем молоденькую смазливую «телку». Теперь она лежала рядом, повернувшись к стене, и громко посапывала. После некоторого раздумья Сергей вспомнил, что зовут ее, кажется, Милой. Посмотрев на дощатый потолок, он установил, что находится на даче. Последнее, что удержала память, когда выходили из кабака, эта самая Мила вешалась ему на шею и кричала на всю Тверскую: «Хочу на лоно природы! Чтоб луна и шампанское! Луна и шампанское!».

Кстати, шампанское оказалось под рукой. На полу у изголовья кровати стояли две бутылки. Одна была пуста, но другая лишь чуть-чуть отпита. Он прямо из горла ее и уполовинил. Не пожадничал, сексуальной партнерше оставил на опохмелку. Попытался ее разбудить, потрянул за плечо, но она, не открывая глаз, проворчала капризно. «Не приставай! Я спать хочу!» — и засопела пуще прежнего.

Сергей вылез из-под одеяла и поежился. Комната, хотя солнце и светило уже вовсю, совсем не прогрелась. Он быстро оделся и вышел на крыльцо покурить. От шампанского и глубоких затяжек «Мальборо» голова

немного просветлела. Он стал прикидывать, чем бы занять время, пока девчонка дрыхнет, и остановился на решении обследовать чердак.

Дачевладельцем Сергей Разгуляев стал недавно. Как-то в начале лета, надраивал во дворе свою новенькую «тойоту», и подошла к нему Валентина Александровна, старушенция из соседнего подъезда, завела жалобным голосом разговор: «Сережа! Вот дачу решила продать. Сергея Петровича, твоего тезку, я, ты знаешь, схоронила, а одной мне там не управиться, ноги, видишь, как распухли, совсем не ходят, и стенокардия не отпускает. Дочка из Америки отписала, чтоб я с дачей не мучилась, а продала, а деньги в банк положила и жила б на проценты. Может, у тебя знакомые есть, кто мою дачу купил бы. Только чтоб не обманули старуху».

— А чего знакомых искать? — весело ответил Сергей. Я и сам ее у вас куплю.

Дача стоила раза в три дороже, чем отслюнил он старушке «зелененьких», но она, пересчитав их на рубли, к великой радости обнаружила, что это получается еще одна пенсия аж на двенадцать лет, а ей такого срока уж никак не протянуть. В общем, остались довольны друг другом.

Сначала Сергей подумывал тут же дачу перепродать, а потом решил себе оставить. Все друзья уже загородными коттеджами обзавелись, кто купил, кто построил, а он что, рыжий? Сделает ремонт капитальный, а то снесет эту халупу к чертям собачьим и отгрохает красный кирпичный замок с башенками и аркой над входом. Как у босса.

С этими мыслями и полез на чердак удостовериться, прочны ли балки-стропила, чтоб ремонт затевать. На чердаке хламу разного навалом. Пара корзин дырявых, цинковое корыто, связка журналов «Здоровье», черенок от лопаты, ржавые грабли, веники березовые висят, ломкие, не меньше, чем трехлетней давности.

Стал пробираться Сергей через эти завалы к чердачному окошку да на балке осевой поскользнулся, и отвалился от нее большой брусок. Хотел его обратно приладить, нагнулся и увидел, что в балке дупло выдолблено, и этот брусок его прикрывал, так чтоб тайник получился. А в тайнике полиэтиленовый пакетик лежит, перевязанный крест-накрест белой тесемкой. «Уж не клад ли?» — шальная мысль мелькнула, и руки задрожали от волнения, когда тесемочку стал развязывать. Но, к великой его досаде, оказались в пакетике не золотые кольца и броши, которые мнились ему, а обыкновенные тетрадные листочки, исписанные крупным круглым почерком. Вроде, письма. Окошко от пыли тусклое, свет еле пробивается, так что, хоть почерк и разборчивый, а читать затруднительно. Спустился он с чердака и пошел в беседку, чтоб там, покуривая, не спеша, познакомиться с чужой перепиской. Какое никакое, а все занятие, пока эта Милка не проспится.

Почуднее устроившись в старом плетеном кресле, продавленное сиденье которого было заткнуто засаленной подушечкой-думкой, Сергей закурил сигарету и углубился в чтение.

5 сентября 1959 года.

Здравствуй мой любимый, ненаглядный!

Вот уже три дня прошло, как ты уехал, а я думаю о тебе каждую минуточку, веду с тобой разговоры. Мне даже Тамарка, та, что у окна сидит, ты ее знаешь, сказала, чего это ты Людка последние дни, как блаженная, глаза в одну точку уставил, и шепчешь чего-то и улыбаешься. А улыбаюсь потому, что тебя вспоминаю. Я ей, не беспокойся, не рассказывала про наши отношения, разве кто посторонний поймет, какое счастье выпало на мою долю, мой желанный, солнышко мое ясное. Может, смешно тебе читать мои ласковые слова, может, смешно было, когда я тебе их шептала, только ты вида не подавал, может, есть какие другие, чтоб любовь моя открылась тебе до самого доньшка, да я их не знаю. Наверное, есть они в книжках, и ты читал их, а мне не сказывал. Вчера в нашем клубе показывали кино «Красное и черное» из французской жизни. Там тоже про любовь, про переживания сердечные. Я смотрела и все сравнивала. Как жалко мне было женщину в первой серии, которую соблазнил Жерар Филипп, а потом бросил. Как она тосковала, бедная. А я вот знаю, сердцем чувствую, что не встретимся мы с тобою больше никогда, а обиды на тебя нет ни на мизинчик. И как обижаться, когда ты счастье мне подарил. Одна минуточка, когда ты обнимал-целовал меня, дороже мне всех прошедших восемнадцати лет. Смешно становится, как вспомню, как радовалась девочкой, когда мама беленькие босоножки купила, как море первый раз увидела, мы с мамой и папой в Сочи ездили в прошлом году дикарями, да ты знаешь, я тебе рассказывала. Я тогда, глу-

пая, думала, вот оно счастье — искупаться, на солнышке понежиться, винограда вволю покушать, я до этого и не пробовала его совсем. Может, прочитаешь и подумаешь, какую дуру приласкал, а только я от тебя ничего скрывать не хочу, какие мысли глупые ни приходят в голову, а всеми хочу с тобой поделиться. Ты грамотный, институт закончил, книжек много прочитал, а я даже в техникум не смогла сдать экзамен по алгебре, но разве для любви это самое главное, чтобы человек умным был? Вот у мамы старшая сестра в Свердловске в университете работает, а так вековухой и осталась, не судьба ей была любовь встретить. И Тамарка, хоть и замужем, а тоже мне кажется, что у нее не любовь с Василием, а просто увлечение было. Они всего два года прожили, а все время ругаются между собой, и даже на 8 марта он ей и флакончика духов не подарил. Духи, конечно, можно и без любви дарить, просто для приличия, но только я никогда не видела, когда он за ней после работы заходит, чтобы глаза у нее счастьем засветились. Зачем я тебе все это пишу, не знаю. Ты, наверное, сел в вагон и выкинул меня из головы. А в Москве у тебя свои интересы, свои заботы. Почти три месяца дома не был, по дочке соскучился. И по жене, конечно. Не подумай только, что я ревную. Я просто завидую ей, что она каждый день может волосы твои кудрявые гладить, слова нежные тебе говорить. Счастливая она женщина, но кусочек счастья и мне достался. Говорят, с глаз долой — из сердца вон, а я даже сильнее тебя люблю, чем когда ты рядом был. Вспоминай меня, любимый. Я сердцем почувствую, когда ты обо мне ду-

мать будешь, и радостней мне тогда станет и на душе светлей. А писем мне не пиши и адреса моего не пытайся узнать через своих товарищей на нашем заводе. Я ведь нарочно тебе его не дала. Вместе мы все равно никогда не будем, так зачем тебе лишние заботы отвечать на письма глупой девчонки. Хочу верить, что и ты любил меня всем сердцем, как я тебя, но и думаю иногда, может, от скуки ты со мной связался, может, я для тебя была просто забавой. Но даже, если серьезного чувства у тебя ко мне не было, я все равно никакой обиды на тебя не держу, потому что счастье не когда тебя любят, а когда ты любишь.

Целую глаза твои, и щеки и губы миллион-миллион раз.

Навеки твоя Люда.

6 сентября 1959 года.

Здравствуй дорогой Сережа!

Вчера отправила тебе письмо, а сегодня ругаю себя, зачем сделала такую глупость. Еще подумаешь, что разжалобить тебя хотела. Поверь, любимый мой, у меня в мыслях ничего такого нет, чтобы тебя к себе обманом таким привязать. Я бы себе никогда не простила, если бы ты из-за меня бросил жену и дочь, они ж тебе родные, а я просто знакомая девушка, с которой закрутил любовь во время командировки. У нас все командированные из Москвы норвеят завести знакомство с девушками, а наши дурры спят и видят, что их в столицу увезут. Только не принимай

эти обидные слова на свой счет. Ты бы и увез меня, знаю, да кто виноват, что поздно я родилась, что поздно мы встретились. Разные у нас судьбы, как Марк Бернес поет. Только не думай обо мне плохо. Знаешь, что ты у меня первый, и сколько жить буду, буду беречь в своем сердце любовь к тебе. А еще ты спрашивал, почему, когда расставались у гостиницы, я не разрешила себя поцеловать, ведь темно было, и никто не увидел бы. Ты подумал, я стесняюсь, вдруг прохожий пройдет и гадость какую-нибудь скажет, а причина совсем другая. Мы с тобой целоваться перестали в сквере у нашей березки. Ты это место, наверное, не запомнил, а она, березка кудрявая, всегда будет стоять передо мной. У нее ты меня поцеловал первый раз. Вот я и задумала, чтоб и последний наш поцелуй, настоящий, жаркий, не такой, как на вокзалах целуются, здесь бы меня обжег. Еще раз прости, если растревожила тебя своими письмами — вчерашним и этим. Постараюсь больше не напоминать тебе о своем существовании, забудь меня поскорее, чтобы не тяготили тебя воспоминания о наших коротких встречах. А я тебя буду помнить, потому что, когда я думаю о тебе, то снова ко мне возвращается счастье.

*Целую тебя, мой любимый и единственный.
Твоя Люда.*

12 июня 1969 года.

Здравствуйте дорогой Сергей!

Наверное, вы очень удивитесь, если получите это письмо. Вы, поди, меня давно уже забыли, вычеркнули из своего сердца. А пишет вам знакомая ваша Людмила, с которой вы познакомились, когда были в командировке в нашем городе. Сегодня исполнилось ровно десять лет, как мы узнали друг друга. Я очень хорошо помню, как первый раз вас увидела. Вы первый были, когда после обеда наша почта открылась. Сначала вы подошли к Тамаре, наверное, она вам больше понравилась, а она вас ко мне направила, потому что я телеграммы принимала. Вы поздравляли свою дочку с днем рождения. Ей тогда пять лет исполнилось, вашей Леночке, я имя запомнила. Значит, сегодня ей уже пятнадцать, совсем девушка. Я думаю, она у вас выросла красивая и умная, как папа. У вас сегодня очень радостный день, потому что дети наше счастье. У меня ведь тоже уже двое своих — мальчику Павлику седьмой пошел, а Верочке три. После того, как мы с вами познакомились, я на мужчин никакого внимания не обращала, так вы в мое сердце запали. Только о вас мечтала. Сяду бывало в скверике у той березки, под которой вы меня первый раз поцеловали, закрою глаза и вас представляю. Как вы в гостинице ходите по комнате и руки за спиной держите, как чай пьете, сначала горячий с ложечки, а потом на стакан дуετε, и губы у вас смешные-смешные. И чаще всего, как вы голову положите ко мне на колени, и я ваши кудри русые перебираю. Время, говорят, лучший лекарь от сердечных ран. Вот и я через два года встретила другого и вышла замуж. Только, извините, я не совсем правильно написала, может, вы не так поймете. Наша лю-

бовь никогда раной не была, и время не вымыло ее из моего сердца, она со мной была все эти годы. Вы, наверное, не поверите, у мужчин к женщинам отношение проще, а только все это чистая правда. Да и зачем мне вас обманывать. А зачем все это пишу, не знаю. Вы, поди, давно уже на Главпочтамт не ходите и не спрашиваете, есть вам весточки «до востребования». А я все же надеюсь, вдруг вы получите мое письмо и прочитаете и скажете «вот дура навязалась на мою голову», а может, станет вам радостно и грустно знать, что в далеком уральском городе женщина, которая любит вас сильно-сильно и без всякой надежды, без всякой корысти. А если останется мое письмо лежать ненужным на почте, то потом его после положенного срока уничтожат, так как адреса обратного нет, а если какая любопытная почтарка и прочитает его, то ничего дурного для вас я не пишу, и вам никакого неудобства откровенные признания не доставят. Вот я этим оправданием сбилась с мысли, а хотела сказать, что живем мы с мужем в полном согласии, и одновременно я вас люблю, и любовь с годами не слабеет, а даже становится светлее и душевнее, если так можно выразить мое чувство. Слов правильных я подобрать не смогла, но, думаю, вы поймете. Хоть вы и наставляли меня продолжить образование, но я этого сделать не смогла. И способности у меня к учению не очень большие, и зарабатывать надо было. Через год, как мы с вами расстались, умер папа, а маме одной трудно было тащить нас четверых, у меня еще трое младших братиков, я вам рассказывала. С почты я ушла, поступи-

ла на курсы бухгалтеров и работаю теперь на заводе, на который вы тогда приезжали в командировку. Я знаю, что вы два года назад должны были снова к нам приехать, услышала случайно, как двое москвичей говорили, жаль, что Сергей Петрович с нами не поехал. Вроде вы в последний момент бюллетень взяли, и вместо вас другого послали. Надеюсь, что ничего серьезного тогда с вами не случилось, обыкновенная простуда, а только я сильно за вас переживала. А еще грешным делом подумала, что это вы из-за меня не приехали, чтоб не совеститься передо мной. А чего совеститься, я на вас никакой обиды не держу, наоборот только одну благодарность. Еще, если вам интересно будет, сообщаю, что муж: мой Валерий Павлович работает водителем автобуса на городском маршруте. С ним, все считают, мне повезло. Он почти не пьющий, только по праздникам, и не с каждой полочки, но много курит, а в последнее время увлекся мотоциклом и записался в очередь на «москвич». Денег, правда, у нас таких нет, но пока подойдет очередь, может, появятся. Хотя на детишек приходится много тратить, растут они быстро и надо часто покупать обновки. Когда б два мальчика или две девочки, тогда, конечно, было бы не так накладисто. А Тамара, подруга моя, к которой вы к первой тогда подошли, со своим Василием разошлась и выскочила замуж за москвича. Он тоже был на нашем заводе в командировке, только не от вашего министерства, а по профсоюзной линии. На этом кончаю свою глупую писанину. Желаю вам и всей вашей семье крепкого здоровья и счастья!

Ваша знакомая Людмила.

18 января 1974 года.

Здравствуйте дорогой Сергей Петрович!

Извините, что не писала вам целую вечность. Если, конечно, вы ждете моих писем. Не думайте, что я забыла вас. Я вас люблю и не разлюблю, видать, до гробовой доски. Просто писать часто об одном и том же, вам читать будет неинтересно. А так неожиданно получите сердечный привет из дальних краев от женщины, которая вас любит, и вам станет приятно и вы скажете своему товарищу, который с черными усами: «А меня, Лев Иванович, дорогой, одна дураха любит без памяти уже пятнадцать лет!» Почему я знаю, как зовут вашего товарища, откроюсь. Мы ведь с вами Сергей Петрович виделись десять дней назад. Конечно, вы меня не заметили, хотя даже задели портфелем, когда проходили мимо. Очень вы горячо с товарищем спорили, а тут тетка в пуховом платке приперлась откуда-то с глухомани, стоит на самом проходе с двумя ребяташками, движению пешеходному мешает. Вы, конечно, когда меня портфельчиком задели, то извинились по-культурному, руку к шапке приложили, но даже в сторону мою не взглянули. Да и взглянули б, навряд ли узнали, что это и есть, ваша Людочка, ваша глупышка, как вы меня в ту жаркую ночь называли. А свидание с вами я очень просто устроила. Тамара, подруга моя, может, помните, мы с ней вместе на почте работали, в Москве уже седьмой год живет и все зовет меня в гости, а я никак не себе-

русь. То дети маленькие, то садовый участок нам выделили, так несколько отпусков с мужем потратили, чтобы домик какой-никакой построить, землю обиходить. Земля у нас один песок. Сколько машин навоза пришлось перевезти, ужас. Но такие подробности вам, конечно, неинтересны. А тут у детей каникулы, и мужу перед новым годом премию подкинули. Вот он и говорит: «Поезжай в Москву, раз подруга так настойчиво зовет. Детям Красную площадь покажешь, мавзолей. А, может, и на елку Тамара билеты достанет». Я и подумала: конечно, это детишкам будет праздник. Себе не признаюсь, а в душе радуюсь, что сбудется мое желанное сокровенное, мечта тайная по улицам походить, по которым вы ходите, домами полюбоваться, на которые вы смотрите, а может, удастся и на вас хоть одним глазком взглянуть. Я еще дома план составила, как вас увидеть. Из вашего министерства к нам много бумаг приходит, а на них адрес указан. Я его переписала, а у главбуха, его каждый год в Москву вызывают, поинтересовалась между делом, какое метро к вам ближе. Он, не беспокойтесь, ничего не заподозрил, так, подумал, бабье любопытство. А вы, помню, человек дисциплинированный, всегда за десять минут до начала смены приходили. Думаю, привычку не изменили и на работу в свое министерство так же являетесь. Ну, а я еще минут пятнадцать запаса себе прибавила. Народ из метро толпами валит. Испугалась, не угляжу вас. Подвела детишек поближе к вашему зданию. Смотрите, говорю, детки, какой красивый дом. А Павлик, он такой любопытный, спрашивает: «Мама, это какой музей? «Нет,

говоря, это не музей, а просто дом мне понравился. Смотрите, детки, какие окна высокие, какие двери большие, у нас таких лет даже в горисполкоме». Попросила Павлика посчитать, сколько этажей. Он насчитал восемь. А вас все нет. И я нарочно говорю: а мне кажется, что девять, пересчитай, Павлик, еще разок. Он, глупенький, пересчитал и радостно говорит: это ты мама ошиблась. А тут Верочка хныкать начала: «Зачем мы так долго тут стоим? Мне холодно». Это она, конечно, капризничала, мороза тогда в Москве не было, не то, что у нас. Ну, я к ее словам придралась и шарфик ей стала перевязывать, и старательно, чтоб секундочки лишние постоять. А когда к дочке наклонилась, тут и вы неожиданно появились и меня своим портфельчиком задели. А перед этим как раз говорили своему товарищу: Ну, Лев Иванович, дорогой, возможен и другой вариант. По работе, наверное, о чем-то толковали. Были вы в сером пальто с серым каракулевым воротником, и шапка в каракулевая серая. Солидно выглядели. А лицом вроде пополнили. Но голос такой же молодой. Я как его услышала, так и обмерла вся. Стою и шелохнуться не могу, сердце стучит часто-часто. Дети меня за руку тянут: пошли, мама! А я им чуть слышно: ой, деточки, чего-то мне нехорошо, постоим еще минуточку. Обманывала я их. Мне наоборот хорошо было, когда вас увидела-услышала. Несказанно, как хорошо. Будто вернулись те денечки, что мы вместе были. Извините за нескладные слова и, может, запятые не там поставила. После этой встречи люблю вас еще крепче.

Желаю вам здоровья, и много счастья и успехов в работе.

Людмила.

12 апреля 1997 года.

Здравствуйте, уважаемый Сергей Петрович! Пишет вам одинокая пенсионерка Людмила Васильевна. Ваша старая любовь. Надеюсь, вы живы и заглядываете на почту, чтобы получить весточки от друзей, но, наверное, все вам пишут на домашний адрес, и письмо мое вы никогда не прочитаете. Да так оно будет и лучше. Потому что это смех и грех — старухины признания в любви. Вы, поди, тоже на пенсии, теперь пожилых на производстве не больно-то жалуют. Вот мне, как пятьдесят пять стукнуло, сразу намекнули, чтобы освободила местечко. Оно, наверное, и справедливо. Не знаю, как в Москве, а у нас много молодежи без работы бродит. Мне же какую никакую пенсию положили, на хлеб хватает, а картошка и овощи со своего огорода. Летом засолила огурцов десять трехлитровых банок, так три еще не тронуты. Варенье тоже у меня не переводится, и компоты закатываю. Маленькая комната вся банками забита. Крупы тоже в банки пересыпаю. Так, говорят, они дольше сохраняются. Не подумайте только, что я, как некоторые, на случай войны или голода запасаясь. Просто спокойней жить, когда знаешь, что все у тебя есть. А то, как у нас, то продуктов разных навалом, а то ни с того, ни с сего дефицит. Помните, как началась перестройка, мыло исчезло из продажи, а потом

соль, о колбасе я уже и не говорю. Теперь, грех жаловаться, всего вдосталь, да с нашими финансами ничего не укупишь. Извините, что я разнюнилась, это не самое горькое горе, когда денег мало. Горе настоящее — родных и близких терять. Сынок мой Павлик в восьмидесятом году был призван в армию, выполнял, как тогда в газетах писали, интернациональный долг, а 12 мая 1982 года, на третий день после Дня Победы привезли его в цинковом гробике, я даже поцеловать его на вечное прощание не смогла. Дочка моя Верочка после института вышла замуж, по любви, да не совсем удачно. Мужу нее латыш. Я к ним в Ригу на свадьбу ездила. Город мне очень понравился, и квартира у них хорошая, почти в самом центре, и со снабжением куда как лучше нашего было. Но теперь это совсем другая страна, и к русским там отношение плохое. А ведь у них уже двое деток, моих внучат. Самой мне уже к ним не выбраться из-за материальных трудностей, а их зову в гости, они не едут. Может, тоже не по карману такая дальняя поездка, а может, зять и не хочет никому напоминать, что у него есть родственники в России. С мужем мы разошлись семь лет назад, после 29 лет совместной жизни. Женщины на работе меня оплакивали, а его на чем свет ругали. А я его совсем не осуждаю и даже жалею, что так поздно он свою настоящую судьбу встретил, если, конечно, новая жена любит его так, как я вас полюбила. Такая любовь, как моя, наверное, один раз в жизни бывает, и не каждому еще она достается. Жили мы с Валерием Павловичем, как говорится, в мире и согласии, я ему старалась угодить, и он мне никогда

не прекословил, а только настоящего светлого чувства меж нами не было. Просто с годами привязались друг к дружке, свыклись. А встретил он другую женщину, для которой желанным стал, и ушел к ней, и если судить по совести, то поступил правильно. Сына мы не уберегли — не наша вина, а дочь уже живет самостоятельной, жизнью, так что перед детьми он не в ответе. А со мной он расстался по человечески, квартиру со всей мебелью и садовый участок мне оставил, забрал только свои вещи и машину, конечно. Вот так она, жизнь моя сложилась. Двадцать лет я вам не писала, кажется, столько за это время должно было случиться, тетрадки не хватит, чтобы обо всем рассказать, а я вот только на четвертый листочек пришла и вроде уже нечего добавить. Ведь, кроме любви к вам, ничего интересного у меня в жизни и не было. Щелкала на счетах, в очередях стояла, на огороде копалась, обеды готовила, детишкам носочки-чулочки штопала — вот и все факты моей автобиографии. Единственное, что было такое, чему люди позавидовать могут, так это моя любовь. Считай, скоро сорок лет исполнится, как мы с вами встретились. И сколько же раз за эти годы я вас вспоминала. Тысячи и тысячи! Картошку чищу и обязательно вспомнится, как мы с вами на воскресенье в лес поехали за грибами и картошку на костре пекли, и подосиновичек тот махонький вижу, на который вы чуть не наступили. Рубашку мужу стираю, а в памяти сразу тот вечер встает, как вы торопились раздеться, и пуговка одна отлетела, под кровать закатилась, и мы потом ее долго искали, и лбами стукнулись и

смеялись, как сумасшедшие. А дождь пойдет, вспомню, как гроза застала нас, когда вы меня на автобус провожали и своим пиджаком укрыли. Вы, поди, такие мелочи на другой день забыли, а в моей памяти все часы, все минуточки, что мы с вами вдвоем побыли, все сохранились до самой маленькой подробности. Сижу я за письмом, о вас думаю, нашу любовь вспоминаю, и сердце бьется, как у той девчонки, что вы под березкой целовали, а глянула на себя в зеркало и чуть не заплакала. Волосы все седые, лицо худенькое, в морщинах. Хорошо, что мы с вами больше так и не свиделись, и осталась я для вас, если, конечно, вспоминаете, цветущей девушкой с золотой косой и румяными щечками. И вы для меня всегда остаетесь молодым и красивым, единственным и желанным. Может, еще напишу вам когда-нибудь, а может, и нет, но, как помнила и любила вас все эти годы, так и буду любить, пока не остановится насовсем мое сердце. Низкий поклон вам, что подарили мне счастье узнать, что такое любовь. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия.

Ваша Люда.

Закончив чтение, Сергей Разгуляев закурил и долго сидел молча. Потом сложил тетрадные листочки в стопочку, сунул их в карман куртки и пошел к дому. Мила, если на самом деле так ее звали, уже встала и сидела на корточках перед печкой, тщетно пытаясь ее растопить. Вид у нее был невеселый, как у всякого человека с крупного похмелья, тем более у женщины. Когда Сергей вошел в комнату, она повернула к нему свое опухшее

лицо с черными подтеками туши под глазами и жалобно захныкала:

— Ну, куда ты пропал? Я ужас как замерзла. А дрова, противные, никак не загораются. У тебя нет газет каких старых для растопки?

Он ответил не сразу. С полминуты смотрел на нее не добрым взглядом, потом решительно сунул руку в карман куртки, вытащил письма и протянул ей.

— На! На растопку сгодятся.

— Ой, что это? — воскликнула она, взглянув на тетрадные листочки. — Похоже на письма.

— Они самые и есть, — коротко ответил он. — Только не мои, а чужие.

— Ой, как интересно! Давай почитаем?

— Дура, чужие письма читать неприлично, — грубо сказал он и выхватил из ее рук листочки. Быстро скомкал их, затолкал под поленца, щелкнул зажигалкой. Ближний листочек сначала почернел с краю, потом нехотя загорелся. Через секунду ручеек огня перелился на другие листочки, и они разом вспыхнули ярким светлым пламенем.

1998 г.

ЛЮБЛЮ ВЕСНУ

Эта история произошла в зерносовхозе «Узункульский» Булаевского района Северо-Казахстанской области осенью 1960 года.

1

Тогда я еще летал во сне. Случалось это на удивление просто. Вот хотя бы, как в то утро, когда начались события, о которых хочу рассказать.

Снилось мне, что лежу я на самом вершине огромного скирда прошлогодней соломы. Вдоль большака, ведущего от нашего четвертого отделения на центральную усадьбу, стояло их четыре, и этот был самый дальний. Потому, несмотря на довольно долгий срок существования, сохранил он геометрическую четкость контура, и, только подойдя ближе, можно было увидеть, что бока его во многих местах выщерблены. Но навывернутая солома лежала тут же, из чего следовало, что общипывали скирд отнюдь не для хозяйственных нужд. Он выполнял другую весьма важную функцию — служил местом свидания влюбленных пар. Поселок наш, состоявший из двух десятков сборных щитовых домов, где жили первоцелинники, и предназначенных для пришлых помощников в уборочную страду трех вагончиков и одной землянки, сгрудился в кучку посреди плоской ровной степи, и не было в радиусе добрых двадцати километров ни одного деревца, ни одного кустика, в тени которых можно было бы спрятаться от сторонних глаз.

Итак, снилось мне, что лежу я на верхушке скирда и смотрю в нежно-синее небо, от которого исходит ласковое тепло, хотя солнца не видно. Я удивляюсь, куда оно делось, ведь на небе ни облачка, и верчу головой, чтобы найти его, и, наверное, делаю чересчур резкое движение, отчего скирд подо мной начинает оседать, крениться, и я медленно скольжу вниз. Мне страшно падать с такой большой высоты, я переворачиваюсь на живот, судорожно хватаюсь за солому, но она неудержимо скользит меж пальцев. Сердце мое замирает... И тут я чувствую, что тело вдруг становится невесомым и мне нечего бояться падения, потому что, оказывается, я наделен чудесной способностью летать. Причем, для этого совсем не надо махать руками, подражая птицам, достаточно лишь чуть-чуть подгрести под себя, будто плывешь по-собачьи.

Я летел на высоте каких-нибудь трех метров. Перед глазами плыла серо-коричневая, потрескавшаяся еще в летнюю жару земля, вспоротая неглубокими, комковатыми по краям бороздами и чуть прикрытая редкой блекло-рыжей щетиной стерни с лежащими на ней прерывистым пунктиром худосочными валками пшеницы — урожай в прошлом году выдался на редкость убогий. Но это печальное для истинного хлебороба зрелище меня ничуть не огорчало. Напротив, мне было радостно и весело. Я вспоминал, что и прежде летал, и не раз, но те полеты не шли ни в какое сравнение с нынешним, этот дарил ощущение всемогущества души, ее безраздельной власти над телом.

Через некоторое время на глаза мне попался валок, который был погуще соседних, такие встречались на первой нашей загонке, и я полетел над ним. Чуть приподняв голову, я увидел приближающееся ко мне большое расплывчатое пятно кирпичного цвета. Постепенно оно становилось четче и угловатей и, наконец, приобрело знакомые очертания прицепного комбайна «Сталинец-8», впрочем, к тому времени уже переименованного в какую-то безликую аббревиатуру. На мостике стоял мой непосредственный начальник Иван Александрович Хомяков и сосредоточенно смотрел вниз, очевидно, углядел неисправность. «Вот удивится мужик, — самодовольно думаю я, — когда увидит, что его помощник, у которого, как он обидно шутит, «руки не из того места растут», умеет летать». Я бесшумно подлетаю к комбайну и, как вертолет, зависаю над мостиком, чуть ли не касаясь сдвинутой на затылок насквозь промасленной солдатской ушанки комбайнера. «У, черт! Никак опять дождь будет?!» — с досадой произносит Хомяков, принимая мою тень за тень от набежавшей тучи, и поднимает голову. Он видит меня, но, к моему разочарованию, ничуть не удивляется. Выражение лица у него, как обычно, озабоченное и нахмуренное. «Ну, ладно, Студент, будя спать! — громко ворчит он, дергая меня за штанину. — На дворе уж давно виднота».

Услышав это несуразное слово — откуда они у него только берутся такие? — я понимаю, что мой чудесный сон, увы, закончился. С трудом разлепляю глаза, но ничего не вижу — кругом страшная темень. Я сажусь, стукнувшись головой о потолок, — по жребию мне дос-

тались верхние нары — и только тогда просыпаюсь окончательно. Первым делом осознаю, что нахожусь не в, чистом поле, а в нашей землянке — по бокам и снизу посапывают, похрапывают, посвистывают во сне ребята. А за ногу дергает меня комбайнер Хомяков, мой ежедневный мучитель. Его громкий шепот бьет по барабанным перепонкам:

— Студент, проснулся, что ли? Ну, и горзд ты дрыхать!

Я зажигаю спичку, смотрю на часы: всего четверть седьмого.

— Иван Александрович, — говорю, чуть не плача, чего вы в такую рань будите?

— Разведрилось, добре разведрилось! — объясняет Хомяков. — Пока до загонки дойдем, в самый аккурат будет. Владимира я уже поднял и Надюху тоже, они заждались, поди...

«Пропади ты пропадом!» — с безысходным отчаянием ругаюсь я про себя и обреченно сползаю с нар, стараясь наощупь попасть ногами сразу в оба сапога.

Слава Богу, хоть это мне удастся.

2

Конечно, Хомяков зря поднял нас ни свет ни заря. Когда мы, наскоро перекусив, побрели к оставленному в кнопке комбайну, примерно на полпути, километра полтора уж точно отшагали, нагнал нас дождик. Мелкий, морозящий, да и шел он всего минут десять, но пшеничные палки успел намочить. Можно было смело

поворачивать обратно, по крайней мере, до обеда они не просохнут. Но надо было знать Хомякова.

— Не робейте, ребятки! — подбадривал он. — Ноне дождик не обкладной, так сикает по чуточку. Сейчас ветерок подует и в момент обсушит пшеничку. Это, считай, даже подфартило нам, что свободный часок выпадает. Ты, Владимир, и ты, Надежда, покимарьте, если недоспали, а мы пока со Студентом просолидолим технику...

Признаться, мне было обидно, что Хомяков упорно называет меня студентом, хотя я после окончания университета уже целый год работал в газете. Когда я попытался деликатно объяснить ему его ошибку, он с обескураживающей простотой ответил: «Я, парень, третий раз здесь, и все в подмогу мне давали студентов. Вот и тебя посчитал таким. Да, ты не серчай. Я ж тебя не забижаю ентим прозвищем, а имя твое для моего слуха непривычное, я его в памяти, боюсь, не удержу».

К слову сказать, в том году впервые на целину направлялись не только студенческие отряды, но и спущена была разрядка во все московские организации командировать комсомольцев-добровольцев на уборку урожая с сохранением за ними пятидесяти процентов зарплаты. В нашей бригаде, определенной в совхоз «Узункульский», публика собралась самая разношерстная. Помню, были там официант ресторана «Пекин», электромонтер со студии «Диафильм», кларнетист из какого-то оркестра, редактор издательства «Физкультура и спорт», машинистка из райздравицы, две лаборантки из почтовых ящиков, одна из них — наша Надежда, короче говоря, люди, к сельскому труду не приученные и

видевшие комбайн разве что в кинофильме «Кубанские казаки». Меж тем, мужской половине предназначалось стать помощниками комбайнеров, а представительницам слабого пола — копнильщицами.

В плане исторической справки скажу, что на прицепных комбайнах работали тогда вчетвером — собственно комбайнер, тракторист, помощник комбайнера, иначе еще называемый штурвальным, и копнильщик, который чаще всего был копнильщицей. Роли последних двух членов экипажа как раз и отводились самой неквалифицированной рабочей силе — столичным добровольцам.

Вот, к примеру, каковы были мои обязанности. Перед началом работы мне полагалось смазать солидолом все трущиеся части агрегата, коих насчитывалось несколько десятков. Два-три таких узла непременно ускользали из поля моего зрения, что давало основание Хомякову прочесть очередную нотацию.

— Эх, Студент-Студент, паралик тебя расшиби! — сердито выговаривал он. — Я ж тебе все потребные дырочки мелком обозначил, крестики поставил, а ты ету пропустил и вон енту, а в енту совсем маненько солидола капнул. Чего ты его жалкуешь? А полетит какая шестеренка, где ей тут замену сыскать? Ты, уж взялся за дело, так соответствуй. Никто ж не неволил тебя сюды ехать.

Поначалу я пытался оправдываться, мол, крестики дождем смыло, на что Хомяков с ехидцей замечал, что запомнить, где в комбайне требуется солидоловая смазка, для этого институты кончать не надо. Вот ему

ноне в колхозе Васек помогал, малец только седьмой класс закончил, а с первого объяснения все растумкал.

С другой своей обязанностью — стоять за штурвалом и направлять подборщик так, чтобы его пальцы аккуратно подхватывали валок — я справлялся получше. Но так как валки были реденькие, а Хомяков требовал не пропустить ни одного колоска, то при всем моем старании время от времени мы вгрызались в землю. В таких случаях Иван Александрович считал за правило как следует проматериться по поводу моих рук, растущих не из того места, и сам вставал за штурвал. Но метров через пятьдесят, к моей тихой радости, с ним случался тот же казус. Он снова матерился, но уже не так раздраженно, скорее извинительно, вот, мол, случается, что и старый конь борозду портит или, что и на старуху бывает проруха. После этого он передавал мне штурвал, наказав держать подборщик повыше, а сам спускался на землю и некоторое время трусил впереди, подхватывая вилами колосья и бросая их на транспортерное полотно.

Ну, а еще мне поручалось самое противное и изнурительное дело — освободить приемную камеру комбайна, если она забивалась колосьями. Случалось это довольно часто, потому что Хомяков, как он выражался, до работы был шибко завистной, и сидеть, сложа руки, не мог ни минуты. Вот и начинали мы подборку, когда валки пшеницы еще не успевали просохнуть от утренней росы или прошедшего дождя. Первые часа два работы через каждые десять минут нам приходилось останавливаться, и я по немой команде комбайнера спрыгивал со штурвального мостика на землю, выгребал из

приемной камеры сырую и тяжелую массу сцепившихся намертво колосьев, а потом, согнувшись в три погибели, залезал вовнутрь и по одному выдирал скользкие гибкие пшеничные стебли, застрявшие между барабаном и треугольником — так, кажется, назывались эти ненавидимые мной части «Сталинца».

Работа копнильщицы тоже не требовала особых умственных затрат, но физически изматывала нещадно. Ее рабочее место находилось на шатком мостике, прикрепленном с наружной стороны к боковой стенке соломокопнителя — громоздкого металлического ящика с откидывающимся дном. Если наш комбайн имел три колеса, что обеспечивало относительно слабую тряску, то у копнителя их было только два и гораздо большего диаметра, так что даже на неизбежных мелких рытвинах у копнильщицы вытряхивало всю душу. А ведь она еще должна была орудовать вилами, чтобы выравнивать солому. Неудивительно, что наша Надюха дважды сваливалась в этот самый копнитель, но оба раза он, к счастью, был уже почти доверху наполнен, и дело обходилось без увечья, лишь истошным криком.

В том году в «Узункульский» впервые поступил самоходный комбайн, управлять которым мог один человек. Тогдашнее чудо сельхозтехники совхозное начальство естественно отдало своему, местному старожилу немцу Ивану Федоровичу Мерингу, который на самом деле был однофамильцем известного фашистского главаря, и из-за этого пришлось ему изменить одну букву, однако все равно за глаза все его звали Герингом.

Этот немец запомнился мне еще и потому, что мы с ним соревновались. В прошлом году Хомяков завоевал

первенство и хотел нынче повторить свой успех. В условиях соревнования было два показателя — количество убранных гектаров и намолот. По первому показателю мы все время шли впереди, а вот с намолотом отставали, ибо отводили нам, пожалуй, самые низкоурожайные поля...

Подозреваю, что все эти сведения о показушных комсомольских призывах, допотопных комбайнах, давно уже развенчанном и осмеянном социалистическом соревновании, ностальгически вспомнившиеся автору, малоинтересны современному читателю, однако без них, на мой взгляд, будет не совсем ясна обстановка, в которой действовали герои моего повествования.

А речь у нас пойдет о любви.

3

Хомяков оказался отчасти прав. Пока я занимался «шпринцеванием» — так называл мой комбайнер смазку трущихся деталей солидолом при помощи алюминиевого шприца, похожего на велосипедный насос, — а сам он что-то откручивал да подкручивал, подул теплый ветерок, выглянуло солнце, и через каких-нибудь полтора часа трактористу Володе была отдана команда заводить двигатель. По-хорошему еще часик надо было бы подождать, а так, не проехали мы и ста метров, злополучную камеру закупорило накрепко и мне пришлось как следует попытеть. Через пятнадцать минут слетело намокшее полотно подборщика. Натягивали мы его уже втроем. Вообще-то Хомяков не любил обращаться за помощью к Володе, отношения у них как-то не залади-

лись, оба были с норовом, но на уборке каждая минута дорога, и тут ради дела, будь добр, смирай свою гордыню.

Но эта вынужденная остановка была в тот день последней. Валки подсохли и стали погуще, я на редкость удачливо направлял подборщик, машины подъезжали к нам забрать намолоченное зерно как раз тогда, когда бункер заполнялся доверху, и водители оказывались настолько опытными, что разгружались мы на ходу, почти не сбавляя скорости. Когда работа ладится, забываешь о времени, и не чувствуешь усталости, и голова очищается от праздных мыслей, и заботит только одно желание, чтоб подольше продлился охвативший тебя азарт. Поэтому, не знаю, как Володя с Надюхой, а мы с Хомяковым были крепко раздосадованы, когда откуда-то сзади вынырнула полуторка с наращенным на бортах зеленым фанерным фургоном и, обогнав нас метров на пятьдесят, неожиданно развернулась поперек нашего движения и встала. Из кабины выпрыгнула бабенка в белой куртке и, наперекрест размахивая руками, громко прокричала:

— Шабашьте, мужики! Кухня приехала!

Голос был высокий, звонкий, так что, несмотря на натужный рокот трактора, команду эту невозможно было не услышать. Володя высунулся из кабины и вопрошающе посмотрел на Хомякова, который стоял на мостике комбайна. Тот махнул вперед рукой, не обращай, мол, внимания, двигай дальше, и для ясности матюгнулся.

— Ну, Тюлеген, паралик тебя расшиби! Посулил, что не будут отвлекать нас обедом, а они, вишь, пожаловали.

Тюлеген Курмангалиевич был директором нашего совхоза. Еще при первой встрече с добровольцами-москвичами он обещал, что с начала страды будут приносить нам в поле горячую пищу, но шел уже пятый день подбора валков, а мы продолжали работать без всяких там обеденных перерывов, на ходу жуя вареное мясо с хлебом и луком и запивая эту, по выражению Хомякова, «самую полезительную еду» теплой безвкусной водицей.

Несмотря на отчаянную ругань комбайнера, дорогу нам не уступили. Володя остановил трактор буквально в метре от грузовика, что дало основание звонкогласой работнице общепита обозвать его, а заодно и Хомякова «очумевшими придурками».

Наливая в алюминиевые миски борщ, густой и наваристый, потом накладывая в те же посудины — «тут вам не ресторан» — перловую кашу, щедро сдобренную свиной ушкой, она сердито выговаривала: мол, для них стараешься, а они шуточки дурацкие вздумали шутить, чуть машину не протаранили.

— Ух ты, какая ротастая! — не выдержал в конце концов Хомяков. — Пошумела и будя! Я ж навроде уговорился с директором, чтоб кухня нас сторонкой объезжала.

Это простодушное признание, повторенное Хомяковым, еще более усилило мою неприязнь к нему. Оказывается, он за нашей спиной договаривался с начальством, не соблаговолив узнать, а согласны ли мы пи-

таться всухомятку, чтобы сэкономить для ударного труда несчастные десять-пятнадцать минут, когда все остальные будут уминать борщи да каши и получать на третье компот не жиденький, как в московских столовках, а в полкружки мясистых сочных сухофруктов. Пока я раздумывал, как бы поязвительней охарактеризовать инициативу Хомякова, подала свой робкий голос Надежда:

— Иван Александрович, миленький, давайте будем обедать по-настоящему. Пожалуйста, а?

— Вам бы только полындать, — проворчал Хомяков. — Приехали как в санаторию, а тут мантулить надоть.

— Ой, дядечка, какой вы суровый! — осуждающе покачала головой бабенка. — Совести у вас нету такое говорить. Ребята молодые, им хорошее питание требуется.

Стоявший у бортика полуторки Володя с любопытством прислушивался к этой перепалке, и как только в ней наступила короткая пауза, он придал своему лицу заговорщицки серьезное выражение и громким шепотом произнес, обращаясь к работнице совхозного общепита:

— Разрешите прояснить ситуацию? Иван Александрович Хомяков — ударник коммунистического труда. Это звание он завоевал в родной Рязанской области, а здесь намерен его подтвердить, так что любой непредвиденный перерыв в работе ему поперек горла. Между прочим, сейчас все рязанцы отличаются трудовым энтузиазмом, потому как они поставили перед собой задачу

обогнать американский штат Оклахома по производству мяса и молока. Правильно я говорю, дядя Ваня?

— Вот балабол! — возмущенно воскликнул Хомяков.

— Знамо дело, язык без костей. А ты, девушка, не серчай. Я так считаю, когда мокредь, хоть пять раз на дню обедай, а в хорошую погоду и потерпеть можно. Ну, а супротив тебя я обиды не держу. Тебе начальство приказало доставлять на комбайны горячую пищу, ты приказ должна исполнять. Тут чего уж толковать. А что погорячился я, извиняйте, пожалуйста. Будем считать, конфликт улажен, — заулыбался Володя. — Теперь и знакомиться можно. Дядю Ваню я уже представил. Меня Владимиром зовут. Откликаюсь и просто на Володю. Между прочим, назван так родителями не в честь Владимира Ильича, как многие мои тезки, а в память поэта Владимира Маяковского. Читали его стишок про что такое хорошо и что такое плохо? Я в третью годовщину со дня его смерти сподобился родиться, а мама у меня учительницей литературы была и ужасно боготворила лучшего и талантливейшего поэта нашей советской эпохи. О подробностях моей богатой биографии расскажу вам наедине, если, конечно, моя персона вас заинтересует. Остальные члены нашего ударного экипажа Владислав и Надежда — москвичи, прибыли на целину по велению своих горячих комсомольских сердец.

— Ой, у вас, правда, язык без костей! — хохотнула бабенка, выслушав Володину тираду. — А меня зовут Риммой.

— Прекрасное имя! — восхищенно цокнул языком Володя. — Оно вам очень идет.

Он определенно начинал входить в роль оболстителя женских сердец, каковым и был на самом деле. Среднего роста, мускулистый, смуглый, с русыми чуть вьющимися волосами, татарским разрезом темно-карих глаз, волевым подбородком, Володя, в моем представлении, являл собой эталон мужской красоты. К тому же язык у него был хорошо подвешен, а женщины, справедливо замечено, влюбляются ушами. Как осуждающе, а, может, завидуя, говорил Хомяков, «такие балаболы бабам влюбле».

Насчет того, что звучное латинское имя, предполагающее, на мой взгляд, утонченность и аристократизм его обладательницы, очень подходит работнице общепита, тут Володя явно ей польстил. Была Римма небольшого росточка, кругленькая и лицом и фигурой, с веснушчатыми щечками, курносый носиком, пухлыми ярко накрашенными губками. Из-под косынки выбивались мелкие кудряшки, нещадно отбеленные перекисью водорода.

— Что-то я вас раньше не замечал среди персонала нашей столовой, а на вас нельзя не обратить внимания, — продолжал отпускать незамысловатые комплименты Володя. — Где это вы скрывались?

— Ничего я не скрывалась, — кокетливо повела плечиками Римма, явно польщенная мужским вниманием. — Просто я только вчера приехала.

— И из каких же краев? — поинтересовался Володя.

— Случайно не из Питера, города моей юности? Это вы про Ленинград говорите? — уточнила Римма, уважительно посмотрев на Володю. — Нет, что вы, я

здешняя. В Петропавловске работаю, в вокзальном ресторане.

— Захаживал я туда, но и там что-то вас не видел, — в голосе Володи слышалось недоверие.

— Так я не официантка, я на кухне работаю, — разъяснила Римма. — Нас тоже на уборку командируют. Тут месяц Люся была, наша повариха. Наверное, знаете ее. Такая видная брюнетка. Вот меня ей на смену послали.

— А-а, Людмила, как же, знакомы, — многозначительно протянул Володя. — Не знаю, как другие, а я ею доволен остался. Борщец она вкусный готовила и все такое прочее. Надеюсь, ваше обслуживание будет не хуже...

— Ну будя лясы точить, — прервал их любезничанье Хомяков. — Давай, девушка, на заедку компоту, и поехали дале.

Реплика Хомякова давала понять, что обед, увы, пора заканчивать. Я нехотя поднялся с копешки, прислонясь к крутому боку которой, так уютно было трапезничать, и встал рядом с комбайнером. Компот был налит в большую молочную флягу, и, видно, оставалось его на самом дне, потому как Римма, чтоб сподручнее было зачерпывать, основательно засучила правый рукав. И тут мы увидели чуть пониже локтя синюю наколку. Но выколото было не имя, ее или любимого дружка, не сердечко, пронзенное стрелой, не какая-нибудь классическая сентенция, вроде «не забуду мать родную», а нечто совсем неожиданное: «люблю весну».

Хомяков тактом не отличался. Он долго пялил глаза на наколку, потом промычал неодобрительно:

— Ты, девушка, извиняйте, пожалуйста, из блатных навроде?

— С чего это вы взяли, дядечка? — смутилась Римма.

— Так обныкновенные люди себя не разукрашивают. Шпанье ентим балуется, — усмехнулся Хомяков.

— А это, дядечка, не твое поросячье дело, чего я себя разукрасила, — задиристо ответила Римма. — Пей свой компот и отваливай!

— Ну, ты уж не сердчай больно! — сконфузился Хомяков. — Я ж не для обиды, а для интересу спросил.

— Дядя Ваня у нас любознательный, он, даже когда в сортир идет, газетку с собой прихватывает, — попытался грубой солдатской шуткой сгладить неловкую ситуацию Володя.

Несмотря на явный пересол, это ему, кажется, удалось. Римма так и зашлась от смеха. Хомяков же насутился и с угрозой в голосе произнес:

— Ты, енто, Владимир, язык не больно-то распускай! Я енто, надсмешек не люблю. И в племяши ко мне не набивайся. Какой я тебе дядя?!

— Извиняйте, пожалуйста! — дурашливо повторил любимую хомяковскую присказку Володя. — Только вы, енто не на пугливых напали.

— Ой, да вы что это так распетушились?! — всполошилась Римма, видя, что дело принимает нешуточный оборот. — Охолонитесь, мужики!

— Тебе, Володя, надо извиниться перед Иваном Александровичем. Ты же моложе, а над старшими нельзя шутить, — поддержала Римму Надежда. Голос ее дрожал, и, казалось, вот-вот она заплачет.

— Так я уже извинился, — пожал плечами Володя. — Однако я не гордый, могу и повторить. — Он сделал легкий поклон в сторону Хомякова и с той же дурашливой интонацией громко отчеканил: — Извиняйте, пожалуйста!

Хомяков в ответ буркнул себе под нос что-то нечленораздельное и принялся за компот, из чего можно было заключить, что он согласен на мировую. Отдавая пустую кружку Римме, он коротко сказал: — Мне будя. А вон Студенту еще капни, он компот любит. — И, взглянув на меня, счел нужным добавить: — Только ты особо не рассоливай.

Это пожелание скорее надо было адресовать Володе, который пил компот не спеша, мелкими глотками, аккуратно сплевывая в кулак абрикосовые косточки, потом с хрустом разгрызая их и долго жуя ядрышки. Сначала я решил, что он просто хочет позлить Хомякова. Но, когда он лукаво подмигнул мне и кивнул в сторону комбайна, я понял, что ему надо остаться с Риммой наедине. Нет, решительно не в его правилах было пропустить хоть одну юбку.

Надежда давно уже стояла у своего копнителя, и, когда я проходил мимо, то увидел, что она неотрывно наблюдает за сценой прощания Володи с Риммой, и губы ее кривятся в презрительной усмешке. Хомяков на мостике подкручивал какую-то гайку и с таким остервенением, что вполне мог сорвать резьбу. Наконец Володя помог Римме спрыгнуть с полуторки, подхватив ее за талию и чуть задержав у своей груди, шепнул ей что-то на ухо и вразвалочку пошел к трактору. Он завел мотор,

но с места не трогал, видимо, дожидаясь команды комбайнера.

— Шумни ему, Студент, чтоб ехал, — не поднимая головы, попросил меня Хомяков.

Конечно, в случившемся конфликте, мои симпатии были на стороне Володи, но, слушая, как Хомяков по-мальчишески шмыгает носом, вымещая досаду на ни в чем не повинной гайке, мне стало его чуточку жаль.

4

Уже целую неделю стояло бабье лето — самая подходящая погода для уборки зерновых. С утра было свежо, но часам к одиннадцати солнце начинало припекать и распалось все жарче и жарче, и лишь когда на небе появлялся бледно-тусклый месяц — всегда неожиданно и сразу высоко над горизонтом — на землю опускалась прохлада. Я вовсю старался использовать счастливую возможность в прямом смысле слова позагорать на рабочем месте, однако, к великому огорчению, загар, в конце концов, получился у меня, хотя и густым, но не сочински бронзовым, а каким-то грязновато-серым. Володин ДТ-1 своими тяжелыми гусеницами размалывал землю в липкую невесомую пыль, которая, смешавшись с колючей соломенной трухой, оседала на теле и увлажненная потом едко въедалась в поры, отчего кожа не только приобретала отнюдь не ласкающий взор оттенок, но и нестерпимо зудела.

А вот Хомякову в этом пыльном пекле все было ни почем. Одевался он точно так же, как и в холодные ненастные дни. Его неизменный наряд составляли солдат-

ская шапка, некогда серая, но с годами от частого вытирания об нее насквозь промасленных и просолидоленных комбайнерских рук здорово побуревшая, такого же цвета и возраста телогрейка, черная сатиновая косоворотка, сохраненная, наверное, еще с довоенных времен, защитного цвета ватные штаны, прошитые толстыми суровыми нитками, и изрядно стоптанные кирзовые сапоги, никогда не знавшие ваксы. О штанах стоит сказать особо. От своих собратьев массового пошива отличались они одной деталью, которая сразу бросалась в глаза. Ширинка в них не застегивалась на пуговицы или молнию — впрочем, молнии тогда еще не вошли в широкое употребление — а шнуровалась, как ботинки, крест-накрест. Причем, в качестве шнурка Хомяков приспособил двухжильный красно-зеленый электропровод.

При первом общем сборе нашего экипажа Володя, скосив глаза на причинное место комбайнера, с серьезной заинтересованностью спросил:

— Выкройку из «Крестьянки» брали?

— А-а, енто? — Хомяков, ничуть не смущаясь присутствия покрасневшей, как мак, Надежды, погладил ширинку. — Не, не из журнала. Сам удумал. Пальцы, паралик их расшиби, у меня плохо гнутые, с пуговицами одна морока, а тут расслабил чуток, и порядок. Опять же пуговичка оторвется и затеряется, а проволочке сносу нет.

Вообще, надо сказать, Хомяков был по натуре своей истым рационализатором. На мостике комбайна приладил он самодельный деревянный рундучок, где хранил слесарный инструмент, разнокалиберные болты, гайки, шурупы, шестеренки, мотки проволоки. Что-

бы все это железо не дребезжало на ходу, оно плотно заворачивалось в кусок парусины и подтыкалось по всему периметру рундучка ветошью. В свободные минуты, что выпадали в ожидании хорошей погоды, наш комбайнер не сидел, сложа руки, а все что-то подкручивал, подпиливал, подтачивал, кустарил дефицитные запчасти.

Поэтому я был немало удивлен, когда в следующий приезд передвижной столовой Хомяков, разделавшись с компотом, не поспешил к комбайну, а подсел ко мне на край копешки и, кашлянув пару раз в кулак, сделал неожиданное предложение:

— Перекур, ребятки! Тебе, Студент, с Владимиром, небось, посмолить табачку хочется, а мы с девчатами просто посидим, побалакаем. Давай, Надюха, присаживайся на соломку, не бойсь, что твой труд порушим. И ты, Римма, не погребуй нашей компанией!

Нас с Надеждой не надо было уговаривать, а Римма, пожеманившись немного, мол, хоть мы и последние в ее маршруте, да нельзя задерживаться, дел в столовой невпроворот, все-таки приняла предложение, однако уселась наискось от нас рядом с Володией, хотя Хомяков и придвинулся ко мне, освобождая для нее местечко. Шофер полуторки, неразговорчивый угрюмый мужик, судя по всему, был некурящим. Пока шла наша трапеза, он предпочитал дремать у себя в кабине.

С минуту, наверное, все мы сидели молча. Наконец Хомяков, повертев в руках ушанку — обедал он всегда с непокрытой головой — глубоко вздохнул и обратился к Римме:

— Ты, девушка, давеча разгубастилась, рассерчала меня. Дык повиниться хочу. Я, енто, по простоте деревенской ляпнул чегой-то не того, но без всякого умысла тебя обидеть.

— Да хватит извиняться, дядечка! — досадливо махнула рукой Римма. — Я уж и забыла, что вы там сказали.

— Вот и ладненько! — заулыбался Хомяков, — Не гоже когда люди друг на дружку зло держат. Я чего хотел тебя спросить. Ты, понял, городская будешь. Маненько бы рассказала о себе, как твоя жизнь устроена.

— Чудной вы какой, дядечка! — удивилась Римма. — Зачем это вам моя биография далась?

— Чего, енто, ты все время — дядечка да дядечка? — обиженно засопел Хомяков. — Раз мы помирились, зови меня Иваном Алексанычем, а то и без затей просто Иваном либо Ваней. Тебе, гляжу, годков двадцать семь, как не тридцать, а мне в декабре сорок стукнет. Не шибко у нас большая разница в возрасте. А что касаемо моего к тебе интересу, дык енто при знакомстве навряде полагается друг про дружку порасспрашивать. Я, вот, к примеру, вдовый, а ты безмужевая али нет?

— Незамужняя, что ли? Так по-русски бы и говорили, — усмехнулась Римма.

— А я по-русски и сказал, — насупился Хомяков. — Ты ж все правильно поняла.

— Ну, если вас так сильно мое положение волнует, — поджала губки Римма, — не замужем я. — И, чуть помолчав, добавила с вызовом, — Мать-одиночка.

Ох, Хомяков, Хомяков, простецкая душа! Без всякого стеснения затеял он форменный допрос, который, было видно, Римме становился все неприятней.

— А детей сколько прижила? Одного али боле?

— Сын у меня, — подчеркнуто сухо ответила Римма. — Если вам и про него нужны подробности, то ему пять лет, а зовут Артуром.

— Чего, енто, ты так его окрестила?! — выпучил свои голубые невинные глаза Хомяков. — Имя татарское что ли?

— Да, с вами не соскучишься! — хмыкнула Римма. — Кинофильм «Овод» смотрели? Там артиста Стриженова Артуром зовут. Вот в его честь я и назвала сыночка.

— Спасибочки, теперича понятно, — с удовлетворением в голосе произнес Хомяков. — Кина, правда, енто я не видал. У нас в колхозе по сю пору клуба нет. А артист, видать, пригожий, раз в сердце запал.

И уже когда мы шли к комбайну, я услышал, как он бормочет себе под нос:

— Артур не больно подходящее имя для мальчонки. Дык его можно переделать в Артемия. Тёма — енто будет по-нашенски.

... Послеобеденные перекуры стали у нас растягиваться чуть ли не на полчаса. Я и предположить не мог, что мой хмурый, вечно чем-то озабоченный комбайнер окажется таким разговорчивым. Свои речи адресовал он, как правило, Римме, хотя невооруженным глазом было видно, что наш Ваня ей глубоко безразличен. Более того, она всегда усаживалась рядышком с Володей, будто невзначай прижималась к нему, они о чем-то шушукались, не обращая на нас внимания, и вряд ли

оба услышали хоть половину из того, о чем говорил Хомяков. Он же чаще всего вспоминал родную деревню, рассказывал про свое житье-бытье.

— Оно, конечно, каждый кулик своим болотом хвастает, — раздумчиво начинал Хомяков, и его глаза светлели, приобретая цвет привядших васильков, и добрая улыбка скрадывала грубоватые черты скуластого курносого лица. — Только тут на целине местности не шибко веселые. От станции до совхоза километров сорок пять, как не пятьдесят, а едешь-едешь — кругом все одно и то ж, одно и то ж. Ни речки, ни озерка, ни рощицы какой завалющейся. А наша Ивановка на крутом берегу расположилась. Насупротив — заливные луга. По бокам — поля пшеничные да овсовые. Сзади — лес. Грибов — косою коси. А ягоды — какие хошь: и малина, и голубица и смородина красная дикая. Рябина с калиною тоже произрастают. По осени орехов через край. Изба моя на кривулине речки стоит, на самом крутояре — солнушко кругом. По вечерней зорьке ластовочки летают. Они у меня под стрехой лепятся. А картошки на огороде зацветут — заря зарей!

— Одной красотой сыт не будешь! — лениво подавал реплику Володя. — Не от хорошей же жизни вы на целину подались?

— Енто ты прав, — соглашался Хомяков. — Жизнь нонче хуже стала. После войны мы жуть как голодовали. Потом поманеньку оклемались. А Маленков пришел, спасибочки ему, хоть он и антипартийный оказался, совсем было вздохнули. Большую послабу он сделал колхозничкам, от налогов ослобонил, дозволил собственным хозяйством поболее заниматься. Да только му-

жики чуток ремешки расслабили, как тута Ларивонов, нашенский секретарь обкому, прокукарекал: «Трудящие Рязанской области, догоним американов по мясу!» Сколько скотины под нож пустили — страсть! Нашенский председатель, фамилия евойная Заварюхин, мужик негодящий, пьянь пьянью, а перед начальством шустрый. Чтоб похвалу заслужить, а то и орден на спинжак прицепить, по первости все колхозное стадо извел, а потом самолично по дворам зашастал. Кого на сознательность агитировал, а кого чуть не силком понуждал коровешку на скотобойню отволакивать. Все одно, страшал, подохнет. Ни выпасу, ни сенокосу тебе не будет. Сам мордель наел, а другие голодуй. Кто скотину блюсти не будет — все, копец. Ко мне тоже сунулся. Следуй, кричит, общему порядку, сдавай свою Зорьку на поставки! А не то партбилет на стол! Ну, я шибко рассерчал. Дулю ему под нос сунул. Мне, говорю, ентот билет перед Курским сражением вручили, и не тебе, паразиту, его отбирать. В кресте одном буду жить, а не подчинюсь. А тута еще девчонки мои заревели. Старшой Нюрке десять, а меньшей Дашке только шестой годочек — как малолеткам без молочка?! Я — криком, девчонки — ревом, спасли Зорьку от ножа. Устыдился Заварюхин, пошумел еще маненько для авторитету, но боле не приставал. А Зорька моя — удойная коровешка. И молочко пьем, и сметанка завсегда в погребе имеется, и маслице сбиваю. Деревенскому обитателю без коровы нет никакой возможности.

То ли, чтобы подначить Хомякова, а скорее — продлить удовольствие пообнимать втихаря Римму, по-

держаться за ее круглую коленку, Володя подкидывал каверзные вопросы.

— Я, Иван Александрович, не в пример вам, человек беспартийный, но газеты читаю. Только не обижайтесь на меня, однако ваша позиция не совпадает с линией партии. Недели две назад в «Правде» был репортаж о встрече Никиты Сергеевича Хрущева с колхозниками его родной Калиновки. Так там все давно отказались тратить силы и время на личных коров, а молоко получают с колхозной фермы по потребности, и стоит оно копейки.

Хомяков чесал в затылке, щурился, причмокивал, будто пробовал на вкус слова, которыми намеревался возразить Володе.

— Дык то Калиновка, а то Ивановка, — потирал он подбородок, весьма довольный, что нашел остроумный аргумент в споре. — Она и прозвание свое получила, потому как спокон веку у нас полдеревни сплошняком Ивановы. Ваньки, следовательно. Отродясь никто из наших в начальство не выбивался. Опять же газета для агитации и набрехать чуток может. В прошлом годе приезжал сюда корреспондент с Петропавловска. Мы только-только начали хлеб валить. Пшеничка была куды дружней нонешней, но больно низкая. Я уж ростом не вышел, а она мне по пояс. Дык чего ентот корреспондент удумал. Завел меня в несжатую делянку. Становись, говорит, на колени и разводи колосья руками. Ну, я привык команды сполнять. А не растумкал, на кой хрен ему енто понадобилось. Он щелк, щелк, пожал ручку и уехал. Деньков через пять Тюлеген, он и тады верховодил, показывает мне газетку. Пряма на первой

странице большая моя фотография и под ней подписано: передовой рязанский механизатор Хомяков, приехавший на подмогу целинникам, радуется богатому урожаю. Ентот хитрован, значит, сфотографировал меня без ног, и вышла такая видимость, словно я иду по полю, и колосья достают мне до самой шапки...

Римма в разговор вступала редко и волновало ее лишь одно: какие у Хомякова девочки, часто ли болеют, как учится старшая и как это он рискнул уехать от них за тридевять земель. Этот интерес его искренне радовал.

— Не боись, девушка! — оживлялся он. — За дочками пригляд хороший. Енти пару месяцев они с сестрой моей поживут. Нюрка, старшая, уже вполне самостоятельная, заневестится скоро. И шти сама может готовить и кашу, и чулки-носки постирает и сопли Дашке вытерет. Шибко-то они сестру не озаботят. А чего рискнул — опять же из-за них. Девчоночки растут, Нюрке, почитай, каждый год и одежду и обувку обновлять надоть. С Дашкой в ентом плане проще, она сестрино донашивает. В район съездишь, зайдешь в магазин, расплантуешь туды-сюды денежки — все начетисто. Заварухин наш, я о ем уже сказывал, зерно подчистую в закрома Родины отправляет, а колхозничкам — дулю. А тута в прошлом годе Тюлеген мне отвалил без малого пять центнеров пшенички и две тыщи рубликов. Я цельный год мучицей был обеспечен и дочкам обновки справил.

Здесь я решался вставить слово, выражал сомнение, что вряд ли в эту страду удастся ему как следует заработать. Смешно сказать, намолачиваем мы по четыре-пять центнеров с гектара, зерно же натурой будут

выдавать комбайнерам не из расчета убранной площади, — по этому показателю мы далеко всех опередили, — а с намолота. Обидно, что нам самые малоурожайные поля достаются, а какие получше выделяют немцу Герингу.

— Ты, енто, Студент, особо не горячись, — добродушно говорил Хомяков. — Почему так плантует нынешнее начальство, понять можно. Мы с тобой приехали и уехали, а ентот Геринг житель постоянный. А что немцем народился, дык он в том невиноватый. Опять же он не фриц пленный, а наш русский немец. Я в прошлом годе тоже с ним соперничал, в гостях у него бывал. Мужик он спнравный, хозяйство свое блюдет. В доме чисто, половички на полу, коврик на стенке. Телка тады по первому стаду у него ходила, двух кабанчиков он выращивал, курей полтора десятка держал да еще пару индейских птиц, в наших краях таких не разводят. Наливочкой меня угостил собственного изготовления. Вкусная была наливочка. Что говорить, мужик обстоятельный. Промежду прочим тоже Иван. Пусть даже ему лучшее загонки выделяют, а давай, Студент, поднатужимся да обгоним его. Вот и будет в том наша доблесть...

Иногда Хомякову все же удавалось разговорить Римму. Оказалось, что у этой простоватой бабенки совсем не простая судьба. Родители умерли еще до войны, и воспитывалась она в детском доме где-то в Кузбассе. Потом было ремесленное училище, потом уже в Петропавловске малярничала в вагонном депо. Жила сначала в общежитии, а комнату получила перед рождением сына. Рос он слабеньким, болел часто, врачи

рекомендовали усиленное питание, вот она и перешла на работу в вокзальный ресторан. Комнату не отняли, потому что ресторан тоже относится к железнодорожному ведомству. Что там скрывать, признавалась она, на работу идешь — сумка куда легче, чем когда с работы. А еще, узнали мы, что любит Римма смотреть фильмы и читать книжки про красивую любовь.

5

Хорошая погода держалась довольно долго, но к немалой досаде Хомякова дни становились все короче и короче, а валки пшеницы лежали еще не на одной сотне гектаров. На ближнем к поселку поле ее вообще не косили. Зерно там вроде никак не могло достичь нужной кондиции, и совхозный агроном настоял оставить этот самый урожайный участок для прямого комбайнирования.

— Ох, не успеем управиться до белых мух, — сокрушался Хомяков. — Под снег уйдет пшеничка.

Чтобы продлить работу до ночной росы, он приладил рядом со штурвалом лампочку, но освещение от нее было никудышным, а настоящего прожектора в совхозе не нашлось, так что от этой затеи пришлось отказаться. Зато поспать теперь удавалось подольше и вечернего свободного времени стало больше.

Тогда я еще сочинял стихи. После ужина выходил на большак, шел к какому-нибудь скирду соломы, устраивал там лежанку и, запрокинув голову к звездам, ждал, когда посетит меня муза. Не знаю, как так получилось, но в тот вечер приютом моего вдохновения стал

последний скирд. В его дальнем от дороги конце было выщерблено несколько пещерок. Я выбрал самую узкую, залез в нее, подгреб соломы, сделав что-то вроде высокого бруствера, так что осталась видна лишь небольшая полоска неба, щедро усеянная звездным серебром.

Первые строчки пришли сразу:

Утонула звездочка в небе,

Скрылась в пене седых облаков...

Но дальше застопорило. В голову все время лезла какая-то «небыль», но эта рифма уже было здорово заезжена Пегасами многих стихотворцев, и я мучительно подыскивал свежее созвучие. Из поэтического транса меня вывел шорох шагов и тихие голоса.

— Да не бойся, никого здесь нет, — мужской тенорок показался мне знакомым.

— Когда я тебя ждала, видела, вроде ваш студент в ту сторону прошел.

Я узнал голос Риммы и понял, что ее спутником был Володя.

— Что ему здесь делать? — Этот вопрос он сопровождал смешком. — У него пары нет, да и вообще он какой-то малахольный.

Столь уничижительная характеристика из уст человека, к которому я относился с большой симпатией, потрясла меня. Если бы он не произнес этого обидного слова, я бы наверняка вылез из своей норы и, сказав что-нибудь шутливое, соответствующее моменту, удалился бы восвояси. Теперь же мне стало ужасно стыдно обнаруживать свое присутствие. Не оставалось ничего другого, как затаиться.

Они расположились по соседству, в каком-нибудь метре от меня. Долго шуршали соломой, видимо, Володя старался поудобнее расстелить плащ. Потом послышалась какая-то возня и громкий шепот Риммы:

— Ой, Володичка, ну что ты сразу обниматься да целоваться?!

— А что, не нравится?

— Глупый, конечно, нравится. Но сначала надо нежные слова сказать. Давай я кудри твои приглаживать буду, а ты слушай: Володичка мой ненаглядный! Соколик ясноглазый! Ой, счастье какое, что я тебя встретила! С первой минутки полюбила тебя, желанный мой, долгожданный! Радость моя, дружок мой сердечный!..

Последние слова я еле расслышал. Снова зашуршала солома. Потом будто легкий женский стон. Тишина. И опять шуршание соломы. Тяжелое мужское дыхание. Женский вскрик. Тишина.

Мне было нестерпимо стыдно, что я стал невольным свидетелем, а точнее, слушателем чужих любовных утех. Я лежал, не шелохнувшись, и проклинал себя за то, что принял такое идиотское решение остаться в своем логове. Без шума из него не вылезешь, а ночь стоит такая лунная, что я сразу буду узнан.

После недолгих минут тишины я снова услышал их голоса. Первой заговорила Римма.

— Ой, Володичка, спасибо тебе, что приласкал меня. Спасибо, что ответил на мою любовь. Я же знаю, что внешность моя не очень завлекательная. И маленькая, и конопатая и полная. Это я на нынешней работе растолстела. А раньше худющей была. Не поверишь, в дет-

доме меня «шкелеткой» дразнили. А ты вот что-то нашел во мне. Или просто ради баловства со мной связался?

— Ну, Римуля, снова ты завела свою пластинку! — В голосе Володи слышалось раздражение. — Я ж тебе уже целую неделю твержу, что ты тоже с первого взгляда понравилась мне. Очень даже понравилась. Может, как раз потому, что полненькая, есть за что подержаться. — Он засмеялся, не пытаясь даже приглушить голос.

— Ой, Володичка, нельзя так говорить с женщиной, которая тебя любит. Я ж не давалка какая, не «проститутка, поди». А что с тобой сошлась, не раздумывая, потому что полюбила тебя крепко-крепко. И во сне ты мне снишься, и каждую минуточку думаю о тебе, время тороплю, чтоб скорее пришла наша встреча. У меня, поверь, как Артурчик родился, ни одного мужчины не было. Обожглась однажды, и возненавидела вас всех. Думала, это на всю жизнь. А встретила тебя, и сердце будто огнем обожгло. Ой, чувствую неинтересно тебе слушать про мои сердечные страдания.

— Ну, Римуля, тебя не поймешь, — лениво протянул Володя. — То ты говоришь «радость моя», теперь, оказывается, какие-то страдания я тебе доставляю.

— Дурачок, — ласково сказала Римма. — Любовь настоящая — она и есть радость вперемежку со страданиями. Сердце прямо обмирает от радости, когда я с тобой, а как подумаю, что скоро ждет нас разлука, так и сжимается от горя. Ты, слышала, уже и на расчет подал?

— Да, вот закончим уборку, — подтвердил Володя, и подамся в далекие края. Дружок мой, вместе в Ленинграде служили, зовет на Дальний восток. Пишет: места

красивые, и деньги хорошие зашибить можно. Я там никогда не бывал, а пока молодой, мир посмотреть надо. Я на подъем легкий — сегодня здесь, завтра там. Когда женюсь, тогда не попрыгаешь, семейная жизнь постоянного пребывания требует.

— Ой, Володичка, я и намека даже не делала про семейную жизнь. Знаю, не удержат мне тебя. Ты сокол вольный. Одно прошу: пока мы не разъехались, побудь до конца со мною, на других не заглядывайся.

— Это требование, как говорит Хомяк, трудно выполняемое, — подражая речи нашего комбайнера, весело заржал Володя. — Но ты не бойсь, все будет тип-топ.

Мне послышалось, будто Римма всхлипнула, но когда заговорила, ее голос звучал смешливо.

— Чудной он у вас. Все меня чего-то выспрашивает.

— Так он клинья к тебе подбивает, — объяснил Володя. — Неужто не догадалась? А и, правда, чем не жених?

— Ну, ты скажешь! — засмеялась Римма. — Нашел тоже жениха. Метр с кепкой, чумазый всегда, небритый, расхристанный, на одни штаны посмотреть — со смеху умрешь. Про таких моя соседка баба Лена, на которую я Артурчика оставила, говорит: «чисто миклуха-маклаха».

Володя на эти слова ответил коротким смешком, потом заговорил серьезно.

— Римуля, все хотел тебя спросить, до боялся. Вдруг собак спустишь, как на Хомяка. Что это у тебя за странная наколка такая?

— Ой, Володичка, да никаких секретов от тебя у меня нет. Еще в детдоме старшие ребята мне ее сдела-

ли. Зимой сорок второго года. Мне тогда только двенадцать лет было. Дуреха-дурехой. Все делали, и я за ними. Мальчишки, у которых на четырех пальцах имена умещались, их выкалывали: Петя, Коля, Дима. Ну, еще якоря, кинжалы, змей. Девчонкам это не очень подходило. Подружка моя Соня Кувшинова, наши койки рядом стояли, первая придумала, чтоб ей сделали наколку «люблю Костю». Был у нас такой красивый мальчик. А в девчоночьей компании как? Одна что-нибудь придумает, остальные за ней то же самое повторяют. Следом за Сонькой Верка Морозова попросила, чтобы ей выкололи «люблю Павлика». Моя очередь подошла. А я никого из мальчишек не любила. Почему весну выбрала? Страшно мы в ту зиму голодали. И директор наш Валентин Иванович, добрый был старичок, нас все время подбадривал: «Держитесь, ребятки! Надо только до весны дотерпеть, а там черемша пойдет — сплошной витамин С. И солнышко вас согревать начнет, весенние лучи и растения к жизни пробуждают и человеку прибавляют сил». Так сильно я поверила в эти слова, так ждала весны, что вот и наколку такую сделала. Ужас, как больно было!

— Занятная история! — сказал Володя, но в его голосе мне почудился холодок равнодушия. — Ну, что, пора по домам?

— Ой, Володичка, чувствую, остывает ко мне твое сердечко! — жалобно вздохнула Римма.

— С чего ты взяла? — хмыкнул Володя. — Просто проявляю заботу. Тебе же в такую рань вставать, хоть немножко выспишься.

— Правда, жалеешь меня? — недоверчиво спросила она.

— Правда, правда, — пробурчал он.

С хрустом зашуршала солома — видимо, они выбирались наружу. Потом из своего укрытия я увидел их. Он стоял и курил, а она долго поправляла и отряхивала юбку. Больше я не услышал ни слова. Они ушли молча, и легкий шелест шагов нарушил ночную тишину.

6

Утром я старался не встречаться взглядами с Володей. Теперь-то я знал его истинное отношение ко мне, а ведь считались чуть не друзьями. Обычно к загонке мы шли с ним рядом, но тут я пристроился к Хомякову, который всегда семенил впереди, так что Володе пришлось составить компанию Надюхе. Впрочем, это, кажется, его вполне устроило. Сзади то и дело раздавалось хихиканье нашей копнилицы. Наверняка он травил свои байки, неоднократно опробованные им на других простушках.

После обеда Хомяков объявил уже ставший традиционным перекур. Расположились мы в том же порядке: нас трое у копешки и Володя с Риммой чуть поодаль на охапке соломы. Хомяков в который уже раз принялся нахваливать деревенскую жизнь. Римма возражала ему, мол, что это за жизнь, если кино даже нельзя посмотреть. А у нее поблизости от дома кинотеатр, где каждое воскресенье новый фильм крутят, да еще она на детский сеанс вместе с Артурчиком ходит.

— А вот окажись твой малец в нашей Ивановке, — приводил свои доводы Хомяков, — да поглядел бы он, как курочки зернушки клюют, как теленок с деревцом бодается, на телеге бы прокатился, на сеновале поспал, молочка парного попил — ему б енто боле всякого кина пондравилось.

Продолжение их разговора я не слышал, потому что незаметно впал в дрему. Вывел меня из этого блаженного состояния громкий плаксивый голос Надюхи. Ни много, ни мало, а ей пришло в голову заявить, что за пустыми разговорами мы теряем драгоценное время, а не сегодня-завтра, все ведь слышали, агроном за ужином зачитывал метеосводку, погода испортится.

— А и верно, забалакались мы, — согласился Хомяков. Он был явно сконфужен, услышав справедливую критику от самого младшего и по возрасту и по чину члена нашего экипажа.

Увы, метеорологи на этот раз угадали. Когда мы возвращались с поля, горизонт уже затянули черные тучи. Дожди зарядили на целую неделю. Три дня я отсыпался, а на четвертый, отлежав все бока и не желая оставаться в одиночестве в сырой и темной землянке, отправился вечером на танцы. Точнее, пошел посмотреть, как танцуют другие, потому как сам даже примитивные па медленного танго так и не сумел освоить. Танцы устраивались в столовой — кое-как сляпанном длинном дощатом строении, где дуло изо всех щелей, и температура, если и была на градус-другой выше, чем на улице, то исключительно благодаря дыханию танцующих пар. Общепитовская точка трансформировалась в танцзал за считанные минуты. Столы сдвигались в угол, а лавки

расставлялись вдоль стен. На высвобожденном пространстве могли вальсировать, не очень толкая друг дружку, пять-шесть пар, а топтаться в ритме танго так и все десять.

Распорядителем танцев был владелец радиолы местный шофер Толик, вертлявый разбитной парень. Он получал видимое удовольствие объявлять очередной танец, отпуская каждый раз незамысловатые шуточки. «Вальс «Амурские вопли», то есть, извините, «Дунайские волны». «Любимое всеми танго «Брызги самогонки», пардон, шампанского». Современный быстрый танец фокстрот на мотив: «Москва, Калуга, Лос-Анжелос объединились в один колхоз». И далее в том же духе. Набор пластинок у Толика был небольшой, как и репертуар остроут, так что и те и другие за вечер прокручивались по несколько раз.

Понаблюдав минут пятнадцать, как самозабвенно утаптывают земляной пол столовой энтузиасты вальсов и фокстротов, я вышел на свежий воздух покурить. У входа на кухню был пристроен навес, под которым хранился уголь и дрова для растопки. Это закрытое от дождя пространство одновременно служило курилкой, о чем свидетельствовал приспособленный под урну цинковый банный тазик с плавающими в нем окурками и несколько поставленных на попа чурбачков, заменяющих стулья. Только я закурил сигарету, как из темноты выплыла чья-то фигура.

— Енто ты, Студент, что ли? — раздался голос Хомякова.

— Я, Иван Александрович, — откликнулся я. — А вы что сюда? Вроде бы вы некурящий.

— Да дома скучно сидеть одному, стенки заедают, — объяснил он, присаживаясь на соседний чурбачок. — Дай, думаю, гляну, как нонешняя молодежь веселится. А ты, видать, не плясун?

— Не плясун, — подтвердил я.

Помолчали. Потом он повздыхал немножко и начал изливать мне свою душу.

— Не поверишь, Студент, а по молодости я задорный был, боевой. Не хвастаясь скажу, первый плясун на деревне. Только тады ентих танцев не было. Мы все боле кадрили плясали да полечку, цыганочку еще, ну и обыденную русскую, вприсядку. Патефонов и радиол ентих ни у кого, знамо, тады в заведении не было. Под живую музыку отплясывали. Гармонист наш ивановский Сашка Кудряшов на всю округу славился. Струментом своим владел подходяще. Гармонь у его то соловьем зальется, то щеглом защелкает. Убило Сашку на фронте. Теперича живем без танцев. Молодые парни да девчата в соседний колхоз ходят, там клуб еще до войны построили. А сам я отплясался в сорок четвертом. Восьмого декабря одним снарядом и ранило меня и контузило. Демобилизовали вчистую. Оклемаля чуток и в работу впрягся. А вскорости оженился, обребятился, не до танцев стало.

Хомяков еще повздыхал, вспоминая ушедшую молодость, потом круто сменил тему разговора.

— Ты, небось, Студент, серчаешь на меня? Чего, думаешь, комбайнер ко мне цепляется, все шпыняет да указывает. Так я одно хочу, чтоб ты технику лучшее усвоил. Сегодня ты житель городской, а завтрава, глядишь, в деревне очутишься. Может быть такое? Головой

качаешь, что не может. А я вот тебе фактический пример расскажу из жизни. В сорок восьмом по партийной разнарядке прислали нам нового председателя. Мужик сызмальства в городе жил, в конторе бумажки лопатил. О крестьянских работах не располагал никаким понятием. Не то что к корове, к трактору не знал с какого боку подойти. Ну, и чего вышло? Помыкался человек, помыкался и взмолился: отпустите обратно! Отпустили, конечно, но строгача вlepили. А знал бы он хотя б немножко комбайн али другой какой сельский механизм, поболее было бы у него авторитету у колхозничков. Глядишь, и прижился бы у нас.

— Спасибо за науку, Иван Александрович, — вежливо сказал я, вставая и давая тем самым понять, что пора заканчивать нашу беседу.

— Ты, енто, Студент, погодь, покури еще маненько, — просительно проговорил Хомяков. — Покудова никого нет, хочу тебе просьбу одну сурьезную высказать. Только разговор будет мужчинский, дык чтоб все промеж нами осталось.

— Я не из болтливых, Иван Александрович, — заверил я его, снова усаживаясь на свой чурбачок.

— Так вот чего хочу спросить, — приглушил голос Хомяков. — Как тебе повариха наша Римма, а?

— Да никак, — искренне ответил я, несколько оторопев от столь неожиданного вопроса.

— Ну, енто, понятно, у тебя интерес должен быть к тем, кто помоложе. А по мне она в аккурат будет. И по возрасту подходящая и рсточком низенькая, сам-то я на колхозных харчах не шибко сырое.

— Вы что, Иван Александрович, — догадался я, — уж не роман ли с ней хотите закрутить?

— Не, ни в коем разе. У меня сурьезное намерение. Я б за милу душу расписался с ней.

Оказывается, прав был Володя, сказав Римме, что Хомяков подбивает к ней клинья. Комичная получается история. Но я постарался говорить как можно серьезнее.

— Извините, Иван Александрович, но, мне кажется, Римма не согласится выйти за вас замуж. Вы же знаете, она деревенскую жизнь не любит, вроде того вашего председателя.

— Ну, енто, не особо помеха, — протянул Хомяков. — Женщина, она быстрее приспосабливается к жизненным переменам. Слыхал, небось, пословицу: куды иголка, туды и нитка. Получилось бы промеж нас согласие, дык она б и опривыкла к деревенским обычаям. Характеры у нас схожие. Вот у нее на руке написано «люблю весну», и я того же понятия. Зимой для интересу отколупни кусок земли. Понюхай, чем пахнет? А ничем. Мертвая земляца. А весной она так в ноздри и шибает. Посудить, все живое земле обязано. Та же пшеничка, другие растения, хоть по науке, хоть по церковному поучению, раньше человека на свет появились. А откуда? Из земли-матушки...

Хомякова явно заносило куда-то в сторону, и я счел нужным прервать его лирическое отступление.

— Видите ли, Иван Александрович, но, мне сдается, у Риммы довольно близкие отношения с Володей.

— Да я не слепой, — вздохнул Хомяков. — Только енто ненадолго. Владимир парень легкий, до баб неус-

тойчивый. Он с ней поматросит маненько и на другую перекинется. На ту же Надюху. Дуреха наша по ем обмирает. Ентот путальник лишь моргнет ей, и прощай девичья честь. А я ж не вертихвост какой, за мной жизнь устроить можно. Конечно, обличем я не больно удался, да с лица ж воду не пить. И Римма не шибко красавица. Опять же без мужа дите прижила. Такую не каждый подберет...

Он помолчал немного и с досадой в голосе добавил:

— Эхма, наверное, зазря я ей говорил, что жизнь деревенская хуже стала. Надысь газетку видел, сообщение в ней: наш-то Ларивонов, паралик его расшиби, помер. Надорвался Америку обгонять. Теперича, кумекаю, опять колхозничкам послабу сделают...

Снова последовала пауза, на сей раз более продолжительная, а затем Хомяков сделал ошеломившее меня предложение.

— Дык, чего я тебе открылся, Студент? Ты грамотный, расскажи потолковей Римме про мои намерения, попытай, как она глянет насчет расписаться со мной.

— Ну, вы придумали, Иван Александрович! — не удержался я от изумленного восклицания. — Это что же, вы меня в сваты, что ли, приглашаете?

— Выходит, навроде, как в сваты, — смущенно промямлил он.

— Нет, уж увольте, — решительно сказал я. — Роль свата совсем не для меня. Только все дело испорчу, а вы же потом меня проклинать будете. Вы уж сами как-нибудь разбирайтесь.

Неожиданно быстро он согласился.

— А и правда твоя, Студент. Соберусь с духом и сам ей откроюсь. Завтрева еще как следует все обмозгую, а послезавтрева и выскажу. Ну, прощевай! Только помни: мужчинский разговор у нас был, не проговорись никому.

— Не проговорюсь, — твердо пообещал я.

Он ушел в темноту, а я еще долго сидел в курилке и размышлял об этой коллизии. Придя в конце концов к включению, что она имеет несколько комический характер, я докурил сигарету и отправился посмотреть, как там проходят танцы.

Я зашел в столовую как раз в тот момент, когда Толик восторженно провозглашал:

— Популярное танго «Брызги компота»! Пардон, шампанского! Белый танец! Дамы, приглашайте кавалеров!

Я увидел, как с лавочки у противоположной стены буквально вспорхнула наша Надюха и подлетела к Володе. Он стоял неподалеку от двери и что-то сердито втолковывал Римме.

— Разрешите пригласить! — звонко сказала Надюха, тронув Володю за рукав.

— Не видите, девушка, кавалер занят! — с ехидцей сказала Римма и обняла Володю за плечо.

И тут он грубо сбросил ее руку и зло процедил сквозь зубы, так что все услышали:

— Я, Римуля, человек свободный и не люблю, когда мной кто-нибудь распоряжается.

Он обхватил Надюху за талию, демонстративно прижал ее к себе и повел в танце на середину зала.

Римма с полминуты стояла, закусив губу, а потом рванулась к выходу. Когда она пробежала мимо меня, в ее ничего не видящих глазах стояли слезы.

7

Римма уехала домой на следующий день. Когда за завтраком кто-то из ребят попрекнул повариху Матрену Саввишну, толстую неповоротливую хохлушку, за то, что у окошка раздачи выстроилась целая очередь, и почему это напарница ей не помогает, та махнула рукой:

— Нема вашей Рымы. Як сказылась дивчина. Раненько встала и уехала на усадьбу, а оттоля напрямки до хаты. Хлопчик, казала, захворал. Мабудь набрехала, мабудь не. Та я не противилась особо, нехай соби уезжает. Директор казав, развозку вже не треба организовувать. Закинчивається, хлопци, ваша праця.

Действительно, когда после затяжных дождей, чуть-чуть распогодилось, мы смогли выйти в поле лишь пару раз. Да и то это была не работа, а сплошное мученье. Хотя и дул ветерок, но нес он уже не тепло, а холод, и не в силах был просушить даже самые жиденские валки. А потом однажды мы проснулись и увидели, что все кругом белым-бело. Ночью выпал снег, да не тот первый еще осенний снежок, что тает, едва коснувшись земли, а по-зимнему густой и плотный. Хомяков вместе с Герингом, таким же, как он, приземистым и курносым, ходил на заветную загонку. Они долго бродили вдоль нее, отряхивали полегшие колосья, но те снова безжизненно падали вниз.

Еще несколько дней мы болтались без дела, ожидая, пока совхозная бухгалтерия произведет с нами полный расчет. Потом в клубе первого отделения состоялось торжественное собрание, посвященное окончанию уборочной страды. По такому случаю Хомяков припарадился, надел почти новый двубортный серый в крупную черную полоску костюм, белую рубашку с зеленым клеенчатым галстуком и щедро нагуталенные черные ботинки. На груди поблескивали медали: «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и «За трудовую доблесть».

Победителем соревнования среди комбайнеров был объявлен Иван Федорович Меринг. Директор совхоза вручил ему красный вымпел, самовар и квитанцию на получение четырех центнеров зерна. Второе место занял рязанский механизатор Иван Александрович Хомяков. Он тоже получил вымпел, ценный подарок — электрический чайник и квитанцию, в обмен на которую ему обязаны были выдать на родине 350 килограммов пшеницы. Кто занял третье место и какой приз достался ему, я не запомнил.

В дни вынужденного безделья Володя на виду у всех не раз уводил Надюху к дальнему скирду. Но накануне нашего отъезда они поссорились. Все утро она ходила зареванная, а он даже не пришел ее проводить. Хомяков уехал на день раньше. На прощанье он крепко пожал мне руку.

— Ну, бывай, Студент! Не поминай меня лихом! Кто знает, может, еще встретимся.

«Вряд ли» — подумал я. И ошибся.

До прихода в Петропавловск нашего алматинского поезда оставалось минут сорок, когда мужская половина московской бригады четвертого отделения зерносовхоза «Узункульский», проведя тщательную ревизию взятых в дорогу припасов, пришла к выводу, что еще пара бутылок водки никак не помешает. Идти за ней в вокзальный ресторан по жребию выпало мне.

Купив в буфете нужный продукт, я уже шел к выходу, когда услышал за спиной знакомый голос:

— Ты, что ли, Студент? Аль я обознался?

Я оглянулся. За угловым столиком в конце зала сидел Хомяков и махал мне рукой. Я подошел к нему. Был он в своем парадном костюме, но без медалей. Над столиком витал стойкий запах «Тройного» одеколona. Перед Хомяковым стоял трехсотграммовый графинчик водки, бутылка «Боржоми» и почему-то три тарелки с винегретом.

— Присядь, Студент! — попросил он. — Уважь, выпей со мной водочки.

Я посмотрел на часы. Минут пятнадцать спокойно можно было посидеть с моим недавним командиром в битве за целинный урожай. Он щедро плеснул мне водки в стакан, себе же налил полрюмки.

— А почему не поровну? — спросил я.

— Дык я не шибко до нее охочий. Иному ведро конное подавай — все мало. А я чуток приголублю и хватит. Ну, будем здоровы!

Мы чокнулись, выпили, он пододвинул ко мне одну из тарелок.

— Угощайся! Цены тут кусачие, вот я одних винегретов и набрал на закуску.

— А я был уверен, Иван Александрович, что вы еще вчера уехали, — сказал я. — На поезд, что ли, опоздали?

— Нет, — смущенно улыбнулся он. — Я его с сознанием пропустил. Жду, когда Римма с работы ослобонится.

— Так, значит, приняла она ваше предложение! — не скрывая изумления, воскликнул я.

— Не то, чтобы приняла, — вздохнул Хомяков, — но, навряд ли, и решительного отказа не сделала. Вчерась я зашел сюда, попросил официантку вызвать с кухни Римму, дескать, интересуется ею один товарищ с «Узункульского» совхозу. Вышла она, запыхавшись, радостная. Но люди кругом, она посурьезнела. Сообщил я ей про свое намерение. Она поначалу в смешки, а потом слезу пустила и убежала. Никакого ответа не дала. Я часок подождал, другой — не вертается. Официантка уж перед закрытием сообщила мне, что Римма давно домой ушла. Ну, я в зале ожидания на скамейке поспал, утречком побрился и снова сюда притопал. Кумекаю, раз заплакала она, значит, чувство ко мне проявила. Аль, Студент, я неправ? Уговорю я ее, ей бо, уговорю! Шибко запала она мне в душу. А и меня ей чего не залюбить? Я мужик рабочий, добычный, куревом не балуюсь, водку енту фактически не пью — за мной жить можно. Скажу ей: хошь по домашности, а хошь работай — от нас райцентр в пяти километрах, там в чайной ее примут с нашим удовольствием. Опять же у ее сына сестренки будут, как хорошо! Скажешь, не шибко я Римме желанный? Дык слепимся — слюбимся!

Я посмотрел на курносую простецкую физиономию
Хомякова, и мне стало его нестерпимо жалко.

Тогда я еще думал, что знаю, что такое любовь.

1999 г.

СОЛЕННЫЕ СЕМЕЧКИ

Гражданин без определенного места жительства, а попросту бомж по прозвищу Сын полка после сдачи пустых бутылок пребывал в превосходном расположении духа. Отволок он на приемный пункт две неподъемные сумки, где вместо Верки работала какая-то незнакомая бабенка, видно, новая ее сменщица, и то ли по неопытности, то ли голова чем другим была занята, только переплатила она целых два рубля. Обычно наоборот у них арифметика получается, а тут, значит, подфартило ему. Кроме бутылки портвейна, на которую нацелился, можно еще будет подкупить полбуханки черняшки. С закуской проблем нет. Стаканыч нашел вчера в мусорном контейнере, что у горкомовского дома, пакет с консервами: три банки шпрот, четыре — лосось в собственном соку, две плоские прямоугольные — селедка заграничная и еще баночка зеленого горошка. Так надо полагать, проводил кто-то ревизию домашних припасов и выбросил те консервы, у которых истек срок годности. Побрезговал, опасаясь отравления.

Выпивку сегодня поставит Серый. Ему мамаша от пенсии должна отстегнуть. Он и ночевать пошел к приятельнице, чтоб не пропустить почтальонного паренька, который деньги разносит. Старуха хотела пенсию через Сбербанк оформить, но сынок сказал твердо: «Убью, мама, если перестанешь со мной делиться!». С него станется, за бутылку и мать родную не пожалеет. Три «ходки» уже за спиной. Так Серый тюремные сроки называет. Но кличку он не в зоне получил, а еще в мало-

летстве. Среди пацанов заведено всех Сергеев «Серыми» звать. У Стаканыча прозвище тоже объяснимое, потому как и отчество у него звучное — Иван Степаныч, и «аршин», то есть стакан граненый, всегда с собой носит. А еще ножик складной со штопором. Вот так бы, как Стаканыч, все выпивающие бутылки, которые еще встречаются с прежними настоящими пробками, культурно откупоривали, куда бы как хорошо было. А то мужики спешат жажду утолить, пробку вовнутрь протолкнут, а потом мучайся, вытаскивай ее, чтобы сдать посуду, как Верка требует, «в надлежащем виде». Она чего еще придумала, чтоб этикетки сдирали. Характер свой показывает. Вон Руслан берет все без разбору, но у него на двугривенный дешевле, так что Веркины прихоти приходится улаживать, хотя в правилах, что над ее окошком вывешены, написано: «Посуда принимается в чистом виде», а что с наклейками или нет — об этом ничего не указано...

Такие вот думы-раздумья бродили в похмельной голове Сына полка, когда, заворачивая на Первомайскую, он обнаружил, что рядом с Зыкиной новая торговка расположилась. Зыкину так прозвали, потому что и габариты имеет внушительные и голосище звонкий. За сто метров слышно, когда она покупателей зазывает: «Кому редисочки, лучка-чесночка?! Покупайте морковку — дешевле не найдете!». А то, прямо, как песню пропоеет: «Кому вобла русская — к пиву лучшая закуска!». Другие торговки молчком свой товар продают, тут не рынок, а остановка общественного транспорта, и никаких там разрешений на коммерцию у них, понятное дело, нет. Но Зыкиной закон не писан, у нее племяш в

здешнем отделении служит, да не простым ментом, а вроде старшим на машине, которая патрульные объезды делает. На ней и Сыну полка приходилось кататься. Для вырезвителя он рылом не вышел — штрафа с него не возьмешь. В хорошую погоду сгрузят под кусты сирени, что милицейское здание облепили, ну, а в ненастье пожалеют — в КПЗ определяют. Даже на нары, коли свободные есть, уложат: «Отсыпайся, защитник Отечества!». О мильтонах больше нехороших разговоров идет, мол, больно самоуправничают, а он на них зла не держит. Что волокут, как мешок, по асфальту, так не на руках же его носить?! В общем, гуманное к нему отношение. Может, и вправду думают, что он настоящий сын полка.

Зыкина увидела его, заорала во всю глотку:

— Ну, как, Сын полка, опохмелился уже или только собираешься? Редисочки на закуску не требуется?

И захохотала. Знает ведь, что ее товар не по карману ему, просто в радость ей унижить человека. Зловредная баба.

Новая торговка голову вскинула, уставилась на него. В глазах удивление и вроде даже испуг. Конечно, видок у него, надо признать, неважнецкий. Пегие давно не мытые волосы висят сосульками, седая бороденка жидкими кустиками растет, под глазом фонарь, правда, недельный, уже в желтизну пошел, если не приглядываться, можно и не заметить. А одежда, — он-то с нею свыкся, — а со стороны так пугало огородное или клоун в цирке: китель офицерский допотопный с гвардейским значком, брючки в обтяжку светло-коричневые в крупную черную клетку, на ногах стоптанные синие кроссов-

ки, один шнурок толстый фирменный, в масть, а другой обыкновенный ботиночный черный.

Брюки, что на Сыне полка, Серый стащил у любовницы, чтоб толкнуть при случае. Но когда кореш свои единственные разорвал на самом видном месте, на котором заплатку неприлично ставить, не пожадничал, за просто так отдал ему. Что они бабьи, так это только расцветка смущает, а ширинка с молнией спереди, как и у мужиков. Китель же еще зимой Павел Матвеич подарил, а вместе с ним, так получилось, и прозвище нынешнее. До того он просто Николаем был, ну, иногда еще Серый от хорошего настроения Коляном звал. Когда китель первый раз надел, Павел Матвеич чистосердечно воскликнул:

— Эх, Николай! Если б не борода твоя — и чего ее не сбреешь?! — ты точь-в-точь, как был у нас сын полка. Тоже Колькой звали. И тоже такой же щупленький. Под Бобруйском пристал к нам и до самой границы дотопал. А там уж, как ни упрашивал, откомандировало его начальство в тыл, вроде бы в суворовское училище, а, может, и просто в детдом.

Павел Матвеич без всякого ехидства сравнил его с тем пацаном военного времени, а Серый, который тут же обретался, загундосил обрадовано:

— А чо? Колян вполне за сына полка сойдет. У Руслановой палатки на опохмелку стрелять будет, неужели пожмотничает кто рублишко дать фраеру, который малолеткой воевал? Ты только так и лепи: выручите, мол, господа хорошие, сына полка, за вас ведь, козлы вонючие, кровь свою детскую проливал.

— Да ты, что, Серый, совсем сдурел? — возмутился Павел Матвеич. — Николай же послевоенной выделки, какой из него сын полка?

— А чо? — не унимался Серый. — Сколько, Матвеич, твоему сыну полка было в сорок четвертом? Ну, пусть семь или восемь. Значит, сейчас шестьдесят три. А Колян на столько и выглядит.

Так вот и прицепилась к нему эта несуразная кличка...

Торговка новая смотрит на него неотрывно, думает, поди: что, мол, за чучело такое? А сама меж тем совсем не красавица. В допотопной черной плюшевке, голова платком обмотана по-старушечьи — с узлом сзади. Хотя на лицо вроде нестарая. Да, они, торговки уличные, все какого-то неопределенного возраста и обличья. Неприметные, робкие физии. За исключением, может, той же Зыкиной.

Наконец, столбняк у торговки прошел, и она, слегка смущаясь, обратилась к Сыну полка:

— Купляйте, мужчина, симачки. Тильки шо пожарила.

«Хохлушка, — определил по говору Сын полка. — Приехала подзаработать, да на семечках-то у нас бизнес не шибко сделаешь».

На деревянном ящике из-под яблок лежал ее немудреный товар — два мешочка с семечками. Один, довольно вместительный — с черными, подсолнуховыми, другой, не больше, чем дочкин для галош, когда в младшие классы ходила, — с белыми, тыквенными. Сын полка оторопел — отродясь в городе никто такими не

торговал. И вспомнилось давнее, из детства, их название:

— Почем, тетка, гарбузовые? — И руку протянул, чтобы пробу снять.

Неожиданно Зыкина рывком поднялась с табуретки, шлепнула его по руке, с укоризной выговорила товарке:

— Ты, Надежда Прокоповна, таких не больно привечай. Видишь — бомж! Они только и норовят напробоваться. В кармане же ни шиша.

Сын полка давно уже отучился обижаться на обидные слова в свой адрес, но тут почему-то разыграло самолюбие. Он молча полез в карман, вынул всю мелочь, рассыпал ее на ладони, повторил с нажимом:

— Почем, спрашиваю, стакан тыквенных?

Хохлушка вопросительно посмотрела на Зыкину и, видно, увидев, что взор той при виде денег смягчился, ответила торопливо:

— Який побильше — пять рублей, а маленький — три.

И снова он, будто в детство вернулся.

— А ты, тетка, с Украины что ли? Не с Черниговской ли области?

— Ой! — искренне обрадовалась торговка. — С Черниговской. Станция Мена. Мабудь, чули про таку?

— А як же! — во весь рот заулыбался Сын полка, довольный тем, что уже сколько лет прошло, а вот не забылись украинские слова. — У меня батько с Сосницкого района, как раз в Мене пересадка с поезда на автобус. Получается, земляки мы.

— Поздравляю, Надежда Прокоповна! — ехидно пропела Зыкина. — Хороший землячок у тебя объявился. Смотри только, чтоб он вшей тебе тут не напустил.

Сын полка собрался было хорошим матюгом отправить Зыкину куда подальше, но прикусил язык. Не захотелось совсем уж ронять себя в глазах новоявленной землячки, женщины, кажется, доброй и негордой. Он протянул к ней ладонь с мелочью, сказал солидно:

— Отсыпь для начала на два рубля. Понравятся, тогда уж в другой раз целый стакан куплю.

— Держи карман шире! — не удержалась от насмешки Зыкина, с любопытством наблюдая, как Надежда Прокоповна аккуратно, по монетке, называя вслух стоимость каждой, отсчитывает сумму, на которую решился раскошелиться бомж.

Хохлушка зачерпнула семечек почти до краев маленького стакана, но отсыпать явный лишек не стала, сказала, улыбнувшись:

— Вы перший, кто у мене гарбузовые бере. Лузгайте на здоровье!

От этих приветливых слов, от ясного доброго взгляда встал в горле Сына полка комок, будто хватанул он хороший глоток подпольной водяры, что по божеской цене отпускает алкашам сердобольный Руслан. Даже «спасибо» не смог выговорить, кивнул только и поспешил уйти.

Но направился Сын полка не к постоянному месту встреч собутыльников под старой раскидистой березой на крутом берегу Верхней речки, а завернул в скверик у бывшего Дома пионеров, и там, устроившись на даль-

ней, скрытой от взглядов уличных прохожих скамейке, принялся не спеша лузгать семечки, сплевывая шелуху в ладонь, а потом аккуратно стряхивая ее в притулившуюся к скамейке большую мусорную урну. Он сразу почувствовал, что семечки имеют солоноватый привкус, и списал было это на похмелье, а когда понял, в чем тут причина, чуть не разнюнился. Вот точно так же с солью жарила тыквенные семечки тетя Дуня, отцова сестра, у которой гостевал он на летних каникулах после восьмого класса.

Почему-то на сборы он тогда не поехал, сейчас уж не припомнит, то ли заболел, то ли с тренером был конфликт, только мать (отец к тому времени уже умер), опасаясь, что сын от безделья свяжется с дурной компанией, списалась с золовкой и попросила ее принять на лето племянничка. И оговорила условие, чтоб его не баловали, а наоборот заставляли помогать по хозяйству или, если возникнет такая надобность, пусть и на колхозных работах потрудится, не смотрите, де, что Коля маленького росточка и худой, просто он занимается боксом и ему нельзя набавлять лишнего веса, а мускулы у него крепкие.

То лето вспомнилось ему теперь, как самое счастливое время в жизни. Конечно, и потом были радостные события. Когда стал чемпионом области в наилегчайшем весе, когда мастера спорта получил, когда свадьбу с Лидией сыграли, когда, наконец, Маринка родилась. Но все это были мгновенья, минуты, часы, пусть даже дни, а там в Ольшанах счастье длилось целое лето. Он и в школу опоздал почти на неделю, так не хотелось уезжать. Притворился больным и кашлял ста-

рательно, и добрая душа тетя Дуня поверила и отпаивала его горячим молоком с медом, а дядя Грицько незлобиво посмеивался: «Ой, жинка, дурачит тебя хлопец! Ему не меда, а лозины треба!».

С соседскими ребятами сдружился он тогда быстро, а окончательно завоевал среди них уважение после того, как в стычке с пацанами с другого конца села, совершавшими набег на сад Василя Макухи, послал в нокаут своим коронным апперкотом их жожака, который был на голову выше и килограммов на двадцать тяжелее его. Прокрутив в памяти еще раз этот эпизод, Сын полка усмехнулся: вот загадка мальчишичьего характера! За каждой хатой сад: вишни, сливы, яблоки, груши — ешь собственные до отвала, ан нет, тянет чужого тайком попробовать, будто оно вкуснее. И сам он не раз в таких вылазках участвовал. Конечно, рассудить почестному, это никакое не воровство. Наверное, просто двигало хлопцами желание испытать риск, чтоб страшно тебе было, а ты этот страх превозмог, не побоялся, что поймает тебя хозяин сада да посечет загодя приготовленной для такой оказии крапивой, а то и пройдет по бокам доброй жердиной. Впрочем, философское это размышление свелось у Сына полка лишь к короткому восторженному вздоху: «Ох, и поškodили же мы тогда!»...

Потом, когда пили водку, уютно расположившись в тенечке старой березы, попытался было Сын полка рассказать друзьям-приятелям про то, что купил он сегодня стакан семечек, да не подсолнуховых, а тыквенных, да не простых, а соленых, такие последний раз лузгал без малого сорок лет назад, и что эти семечки напомнили

ему детство, которое было счастливым, потому что лазил он с ребятами по чужим садам, а еще копнил сено и вместе с тетей ходил на прополку свеклы, а еще с ребятами ловили они щурят в бочагах, и ловили не на удочку, а вот как: один держит у самого дна вершу — плетеную конусом длинную корзину, а другой, а то и двое — трое идут ему навстречу, баламутя воду, и рыба, потеряв от страха соображение, заплывает в эту вершу, тут только ее и вытаскивай...

Но рассказ у Сына полка получился нескладный, потому что выпитая водка путала мысли, так что Серый оборвал его на полуслове и процедил презрительно:

— У, падла, семечек купил! Нет, чтобы хлеба...

Никогда больше не пускался Сын полка в откровения с собутыльниками о своих самых счастливых днях, проведенных в далеком детстве, но все чаще с утра, пока еще бывал трезвым, стал ходить на угол Первомайской. Купив у Надежды Прокоповны соленые тыквенные семечки, когда целый маленький стакан, когда на рубль— полтора, и всегда она прибавляла еще жменьку, он вступал с ней в разговор, не обращая внимания на ехидные реплики и насмешливые взгляды Зыкиной. Сначала робко и коротко, а потом все смелей и подробней он рассказывал землячке об Ольшанах, о тете Дуне и дяде Грицько, о Василе Макухе, о других хлопцах, имена которых подзабыл, о том, как «робил» в колхозе, как впервые в жизни сел на коня, и этот конь — смиренный послушный мерин по кличке Парубок, почуяв, что седок на нем неопытный, вдруг понес рысью, и, проскакав так метров сто, встал на дыбы и сбросил его в за-

росшую крапивой канаву. И Сыну полка было приятно, что, слушая про это его детское приключение, Надежда Прокоповна смеялась звонко, и совсем по-молодому сверкали ее карие очи.

Если называть вещи своими именами, то бомж Сын полка просто-напросто влюбился в торговку семечками, но ему, конечно, и в голову не приходило именно так определить настойчивое желание почаще видеть ее, слушать певучий хохляцкий говорок и залиvistый смех, когда он, в который уже раз, повествовал про горячий норов колхозного мерина. Он полагал, что в его беспутной жизни давно не осталось никакого другого интереса, кроме выпивки, а вот, оказывается, просто побаловать с бабой и то приятно. Сын полка был благодарен Надежде Прокоповне за то, что, несмотря на наущения подлюки Зыкиной, она принимала его за обычного, равного другим человека, а ведь для каждого безнадежно пьющего, как бы он ни хорохорился, нет горше чувства сознавать свою ущербность, свою отверженность. Его могли лишь пожалеть, что случалось редко, а чаще презирали или ненавидели, как даже самые близкие люди — жена и дочь. Лидия после «двадцати лет каторги» — приговорив так их совместную жизнь — нашла другого, порядочного, настолько порядочного, что тот увез ее отсюда за тысячу верст, чтобы исключить возможность встреч с бывшим пьяницей мужем. А Маринка, любимая дочка, выставила его из дома, да не просто выставила, а заставила выписаться, потерять прописку, стать в полном смысле этого слова «бомжем». Хотя, по правде сказать, инициатива тут принадлежала не дочери, а ее хахалю. Его он не видел, но

знал, что зовут Максимом, служит в ОМОНе и недавно вернулся из Чечни. Нынче про таких говорят: «крутой!».

Лето пришло солнечное и жаркое, и Надежда Прокоповна скинула свою плюшевку и старушечий платок, и оказалось, что она очень даже пригожая женщина, несмотря на обильную седину в волосах, а, впрочем, сейчас даже у молодых девок в моде седые прядки.

И Сын полка тоже преобразился. Во-первых, вроде бы уступая пожеланию Павла Матвеича, он сбрил свою неказистую бороденку. Во-вторых, попросил Стаканыча подравнять прическу, и тот, несмотря на отсутствие трех пальцев на правой руке и сильное ее дрожание, довольно ловко орудуя ножницами, ровнехонько, как по линейке, откромсал его пегие патлы. В-третьих, сменил наряд — ходил теперь в тенниске и спортивных брюках, презентованных бывшим его учеником Сашей Алсуфьевым, с которым встретился случайно на улице, и которого жалкий вид любимого учителя физкультуры так сильно потряс, что он, отложив на час какие-то свои дела, сбегал домой и принес большую сумку разных шмоток. И шнурки на кроссовках были теперь, хотя и ботиночные, но одного черного цвета. Так что, в трезвом состоянии Сын полка на бомжа совсем не походил, и Надежда Прокоповна могла беседовать с ним без опаски, что иной брезгливый покупатель при виде его отворотит нос от ее товара.

В своем предположении, что на семечках бизнеса не сделаешь, он оказался прав. Торговля у Надежды Прокоповны шла отнюдь не бойко, особенно с утра. К стыду своему, Сын полка даже был рад этому обстоя-

тельству, ибо редко кто мешал их разговорам. Правда, как правило, говорил в основном он, Надежда Прокоповна больше помалкивала. Смущалась, видимо, что «погано розмовляе по-русьски». Но все же постепенно кое-что рассказала о себе. Она седьмой год, как овдовела, живет с дочкой, зятем и двумя внучатами. Старший Тарасик уже во второй класс перешел, а младшему Эдичке только три годика. Дочка работает медсестрой в больнице, получает сущие гроши. А зять был помощником машиниста на маневровом тепловозе, да эту должность недавно сократили, и он шукае себе работу. Но у них в Мене никаких крупных производств нет, а кто устроенный, те крепко держатся за место. Жди, когда кого на пенсию спровадят, вот как ее. Всего три месяца лишних дали отработать. Раньше в почтарки калачом не заманишь, а сейчас девчата, окончившие школу, в очередь сюда выстроились. В общем, не от хорошей жизни забралась она за тридевять земель от родного дома. Русские рубли еще чего-то стоят, не то, что ихние гривны. К осени, рассчитывала, с барышом остаться, чтоб зимние курточки внучатам купить, свитерочки, сапожки, а, может, удалось бы и на пальтишко для дочери выкроить, однако, кажется, планам этим не суждено сбыться.

После разговоров с Надеждой Прокоповной Сын полка шел к облюбленной скамейке у Дома пионеров, грыз соленые семечки и предавался мечтаниям. Хорошо бы, фантазировал он, вернуться к нормальной, человеческой, а не скотской, до которой докатился, жизни, и, чем черт не шутит, — какие наши годы! — найти добрую отзывчивую женщину, согласную завести с ним

новую семью. Да и чего ее искать? Вот Надежда Прокоповна, хотя Зыкина наверняка напела про него всяких гадостей, им не брезгует. Может, конечно, просто у нее характер жалостливый, сам видел, как бродячую собачонку пирожком с руки кормила, а, может, вовсе и не из жалости, а из симпатии привечает она его. Но он не весь еще ум пропил, понимает, чтобы сложились у них отношения, надо перво-наперво завязать с алкогольным пристрастием. Тут должно получиться. Он уже пробовал отказаться от ежедневного злоупотребления и целую неделю вытерпел, так что при необходимости и месяц сможет продержаться и два, а там будет давать себе поблажку только в праздничные да именинные дни. Дальше встанет квартирный вопрос. Надежда Прокоповна — приезжая, угол у дальних родственников снимает, значит, дело опять же за ним. Тут придется в ножки дочери поклониться. Надеется, не совсем Маринка совесть потеряла, чтобы не помочь родному отцу к нормальной жизни вернуться. Квартиру-то персонально ему давали, когда еще в городском спорткомитете работал. Квартира двухкомнатная, просторная, в кирпичном доме, ее на две однокомнатные в Заводском микрорайоне запросто можно обменять, а то на однокомнатную — дочке, а ему — комнату в коммуналке с доплатой. Вот и деньги будут на первое время, пока работу не найдет подходящую. Ну, а если дочь такой же стервой окажется, как и Лидия, то в перспективе намечается следующий вариант. Павел Матвеич — старик одинокий и обещался, вроде бы не по пьяной лавочке, оставить Сыну полка в наследство свою хибару. Всю зиму он у ветерана перекаптовался, и тот привязался к нему крепко.

Грех, конечно, на такое обстоятельство рассчитывать, но Павлу Матвейчу под восемьдесят, и здоровье у него барахлит, уже после второго стакана стал отрубаться.

Вот опять же человеческая несправедливость. Соседи Павла Матвейча бомжем обзывают, а какой он бомж при собственном домовладении и пенсии, да к тому ж участник Великой Отечественной?! Если разобраться, так в их компании лишь один Стаканыч подходит под эту категорию. Тот сам костромской, сюда же попал, как уверяет, из-за охоты посмотреть на Россию, а холода начнутся, двинет на Кубань. Он раньше в оркестре на трубе играл, зарабатывал неплохо, особенно на похоронах, но после одного такого мероприятия перебрал больше положенного, сморило его по дороге, прикорнул на бульварной скамейке, а народ у нас пошел равнодушный, видят, что на улице под двадцать мороза, а человек спит без варежек, да и ботинки не по сезону, но никто не озаботился, не растолкал бедолагу, вот и лишился Стаканыч трех пальцев на правой руке, и ноги у него на малейшее похолодание стали реагировать, только водкой и спасается от боли. Но и он бомжем себя не считает. Прописка, говорит, это отрывка тоталитарного режима (Стаканыч в политику шибко ударенный, любит по-газетному выражаться), а он — человек свободный, сын Земли, гражданин мира, как Ростропович — сегодня здесь, а завтра там. «Жопа ты, а не Ростропович!» — ржет после таких разглагольствований Серый.

Серый тоже не бомж, просто после отсидки второй месяц празднует он выход на волю и по этой уважи-

тельной причине не удастся ему привести в порядок свои документы.

Не раз и не два собирался Сын полка открыть Надежде Прокоповне свои сокровенные мечтания, да все откладывал на потом. Сомнение мешало: а вдруг не поверит женщина, что стала она лучиком света в его беспросветной жизни, примет искреннее признание за насмешку, а то и оскорбится, что какой-то забулдыга считает ее ровней ему. Тогда наверняка лишится он последней радости — этих утренних душевных разговоров.

Сын полка знал, что Надежда Прокоповна намечала по осени вернуться домой, и когда однажды от порыва ветра слетела с березы стайка желтых листьев, и один из них угодил прямехонько в его стакан, он понял, что осень наступила, и пусть будет, что будет, но надо делать решительный шаг. С этим твердым намерением, тщательно побрившись, направился он на следующее утро на угол Первомайской. Однако объяснение снова не состоялось. Надежда Прокоповна первая заговорила с ним, сообщив со вздохом, что с отъездом придется повременить, потому как дочка, нарушив предварительный уговор о сроках ее отлучки, переслала с проводниками целых два мешка подсолнуховых семечек, и пока их не распродает, не сможет уехать. Сын полка прикинул, что еще недели три, а то и все четыре будут продолжаться их встречи, так что запас времени для окончательного выяснения отношений у него есть.

— А вы, бачу, ни трошки не жалкуете бабку, шо вона гута застряне мабудь аж до Покрова, — с легким укором сказала Надежда Прокоповна.

— Ни трошки! — честно ответил Сын полка, не сдержав широкой улыбки, и ему показалось, что щеки ее зарделись.

30 сентября сдать бутылки и закупить спиртное отрядили Сына полка. Стаканыч пожаловался, что ноги совсем не идут, огнем горят. Павел Матвеич освобожден был от этой обязанности в силу преклонного возраста и уважения к его боевым заслугам. А Серый считал ниже своего достоинства «шестерить». Тем более внес он в общак солидную сумму — пятьдесят рублей одной ассигнацией. Видно, пенсию мамаша получила, а, может, уворовал что и продал. По расчетам выходило, что от сдачи посуды, собранной Сыном полка и Стаканычем, денег хватит на бутылек портвешка, а взнос Серого пойдет на поллитровку Руслановой «Московской» да, когда Павел Матвеич добавил червонец, то и еще на один портвешок. С таким раскладом и отправили в путь Сына полка, наказав быстрее возвращаться.

Верка была явно навеселе.

— Чего это ты, Веруня, с утра уже поддамши? — полюбопытствовал Сын полка.

— А у меня сегодня уважительный повод! — ощерилась в пьяной улыбке приемщица стеклотары. — Именинница я! Вы, охламоны, православную веру пропили, а то б помнили, что на Руси истинно женский праздник не 8-е марта, а день святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Считай, у каждо-

го мужчины обязательно найдется близкая женщина с одним из этих имен — мама или бабушка, сестра или тетка, жена или просто хорошая знакомая. Может, скажешь, не права я?

— А и, правда, так! — воскликнул Сын полка, радостно изумившись, что Верка своим глупым бабьим умом сообразила, что женский праздник полагалось бы отмечать именно 30-го сентября, а вот никто из правителей наших не дотумкался до столь очевидной истины.

Увы, уже через секунду от хорошего настроения не осталось у Верки и следа.

— Порядочные люди в такой день именинницам цветы дарят, — в горестной ухмылке раззявила она свой щербатый рот. — А от моих клиентов и конфетки не дождешься. — И совсем уж грубо заключила. — Рассчиталась я с тобой? Рассчиталась! Ну, и отваливай! Нечего очередь задерживать!

А вся-то очередь состояла из старушки-побирушки, трепетно прижимавшей к груди три водочных бутылки, одну из которых Верка наверняка не примет, потому как этикетку с нее соскребли весьма небрежно.

Когда Сын полка услышал о цветах, кои положено дарить именинницам, то сразу подумал о знакомой торговке семечками: ведь получается, что и у нее сегодня именины. А что? Взять да и подарить Надежде Прокоповне букет! Вот обрадуется!

Последний раз Сын полка покупал цветы лет двадцать назад, и тогда букетик ландышей, припомнилось, стоил ровно рубль, поэтому к цветочному киоску, который стоял как раз на пути к Руслановой палатке, подошел он без всякого дурного предчувствия. А когда гля-

нул на ценники, челюсть отвисла. Одна красная розочка на длинном стебелечке — пятьдесят рублей, гвоздики — по пятнадцать, а за букет гладиолусов в кружевной целлофановой обертке, перевязанный розовой ленточкой с пышным бантом, больше сотни выложить надо.

— А-а подешевле у тебя ничего не найдется? — чуть заикаясь, обратился он к цветочнице, длинноносой рыжей девахе.

— Подешевле, дядечка, ромашки на лугу, — сострила рыжуха, бегло окинув Сына полка оценивающим взглядом. На серьезного покупателя этот замухрышка явно не тянул, но все же приличия ради она поинтересовалась, на какую сумму он готов раскошелиться.

Сын полка задумался. Сперва было решил плюнуть к черту на эту затею с цветами, а потом характер упрямый сказался: раз возникло желание, пусть и блажное, надо его исполнить. Придется отказаться от одной бутылки портвейна, а мужикам скажет, что кокнул ее нечаянно, с кем не бывает, авось простят.

На двадцать пять рублей цветочница соорудила букетик из трех белых слегка пожухлых астрочек, сбрызнула их водичкой, завернула в целлофан, только не в кружевной, а обычный, и даже ленточкой красной перевязала, но, увы, коротенькой, так что на бантик ее не хватило.

Сын полка сунул букетик в сумку, в которой таскал бутылки, и побежал к Руслану — мужики, поди, уж заждались. Отоварившись, он в том же темпе рванул на угол Первомайской. На ходу вынул из сумки цветы, руку с ними заложил за спину. Надежда Прокоповна не сразу его углядела, какому-то солдатику прямо в карман буш-

лата сыпала она бережно подсолнуховые семечки, так что Сын полка смог отдышаться, и, когда солдатик отошел, произнес ровным без дрожи голосом:

— Поздравляю с днем именин! — И, протянув ей букет, добавил. — Желаю здоровья, всяческих успехов и счастья в личной жизни!

Надежда Прокоповна машинально взяла цветы и тут же покраснела, стала совать ему их обратно, повторяя сбивчиво:

— Це мени квиточки? По правдочке мени? А чому така ласка? Забудь, вы якийсь иншой жинке их купляли?

— Вам покупал, честное слово, вам, — чуть слышно произнес Сын полка. Тут он встретился с ехидным взглядом Зыкиной, которая внимательно наблюдала за ними, стушевался, понял, что ничего путного больше сказать не сможет, скривил губы в смущенной улыбке и поспешил уйти.

Думал сразу сказать мужикам, что одной бутылки портвейна они не досчитаются, а потом, дурак, решил погодить: выпьют — добрее станут. Куда там!

Когда с водкой было покончено и ее слегка отлакировали вином, Серый, блаженно щурясь, протянул:

— Давай, Колян, доставай второй портвешок! Сын полка не пошевелился и только часто заморгал, и лицо его искривила жалкая улыбка.

— Не тяни волынку! — поторопил Серый!

— Простите, мужики! — со слезой в голосе попросил Сын полка. — Разбил я одну бутылку.

— Как разбил?! — заорал Серый и лихорадочно зашарил в сумке, даже вывернул ее наизнанку.

— Очень торопился к вам, вот и сплеховал, — вдохновенно соврал Сын полка. — Стал бутылку в сумку определять, а она, зараза, скользкая, вывернулась из рук и об асфальт.

— Горбатого лепишь?! — не поверил Серый. — Выжрал ее, сука, в одиночку!

— Это навряд ли, — рассудительно подал голос Стаканыч. — Сын полка тверезый пришел.

— С кем не бывает! — примирительно зевнул Павел Матвеич, для которого и принятой дозы было уже вполне достаточно.

На этом конфликт, возможно, и был бы исчерпан, ну, пошумел бы еще Серый немного и, глядишь, выпустил бы весь пар, да только тут с дорожки, что шла по верху берегового склона, послышался зычный голос Зыкиной:

— Что, господа алкаши, празднуете «Веру, Надежду, Любовь»?

Господа алкаши не удостоили ее ответом. Тогда, подойдя поближе, Зыкина напрямую обратилась к Сыну полка:

— А чего ж ты именинницу не пригласил? Цветочков ей купил, а винца жалко стало?

— Про какие это ты цветочки вякаешь? — насторожился Серый.

— Так ваш кавалер, — Зыкина указала своим сарделичьим пальцем на Сына полка, — моей товарке букет сегодня преподнес по случаю ее именин. Сама видела, как он цветочки выбирал. Уж так старался, что и меня не заметил, когда я мимо проходила.

Серый моментально уяснил смысл полученной информации.

— Ах ты, козел! — завопил он, схватив бутылку из-под портвейна и заноса ее над головой Сына полка. — Наши общие башли на цветочки для марухи своей потратил! Получай, падла!

От длительного злоупотребления алкоголем реакция у мастера спорта по боксу Николая Пилипенко стала замедленной, и увернуться от страшного удара он не успел.

Провалился Сын полка в больнице почти пять месяцев. Две сложнейшие операции ему на черепушке сделали. Вытащили его врачи, можно сказать, с того света. А зачем? Кому он нужен? К соседям по палате приходили родные, друзья, а его лишь однажды навестили — следователь заявился и уговорил подписать бумажку, что к гражданину Гераськину Сергею Владимировичу он никаких претензий не имеет, так как ссора между ними произошла на почве выпивки и взаимной неприязни.

Когда сутками лежишь пластом на больничной койке, ничего другого не остается, как прошлое в памяти ворошить, о будущем житье-бытье думать. С прошлым Сыну полка все ясно — сам себе судьбу поломал. А с будущим — полный туман. Хирург Леонид Михайлович сказал ему как-то с улыбкой:

— Вы, Николай Михайлович, уж извините меня, но я, когда в вашей голове копался, одну извилинку выпрямил. Ту, которая на потребление спиртных напитков провоцирует. Конечно, полной гарантии не могу дать,

что она снова не искривится, но это уж от вас будет зависеть. Не поддавайтесь искушениям!

Понятно, шутил доктор, но Сын полка и на самом деле перестал испытывать тягу к выпивке. Как отрезало. Что ж, теперь он, пожалуй, имел моральное право на серьезный разговор с Надеждой Прокоповной. Часто вспоминалась ему кареглазая хохлушка, а два раза даже приснилась. Во сне добрая была, веселая, ласковые слова говорила.

Когда уж совсем окреп и ходить разрешили, упрямил Сын полка санитарку, которая, оказалось, по соседству с Маринкой живет, кинуть в дочкин почтовый ящик записочку от него. В записочке написал, что просит у доченьки прощения за все плохое, что она от него претерпела. Но теперь, после несчастного случая, закончившегося серьезной травмой головы, он намерен вести исключительно здоровый образ жизни. А вот как дальше устраивать будущее, и хотел бы посоветоваться с единственным родным человечком. Только пусть Мариночка не думает, что он у нее чего-то просить будет или требовать, просто ему некому больше открыть свою душу. После того, как подписался уже «твой папа», Сын полка задумался надолго и сделал приписку, что передачи никакой ему приносить не надо, потому как скоро должны его выписать, да и еда больничная его вполне устраивает, хотя другие и жалуются. А вот если дочка купит для него стаканчик тыквенных соленых семечек, их продавала на углу Первомайской одна женщина с Украины, может, и сейчас она там торгует, то за это он будет сердечно благодарен.

Дочка не появилась ни на следующий день, ни на другой, ни через неделю. А уже накануне дня выписки зашел в палату молодой невысокий крепыш в камуфляжной форме, гаркнул с порога:

— Здравия желаю, товарищи больные! Кто тут будет Николай Михайлович Пилипенко?

— Я буду, — без особой охоты отозвался Сын полка, решив, что это опять из милиции интересуются его конфликтом с Серым.

— Здорово, батя! — протянул руку крепыш и, присев на койку, чуть утишил голос. — Максимом меня зовут. В настоящее время, извини-подвинься, прихожусь вам вроде как зятем. Сама Маринка не хочет с вами встречаться. Обещаниям вашим, говорит, больше нет веры. И матери, то есть супруге своей, вы клятвы давали и дочери, то есть Марине, да только нарушали всякий раз. Ну, а я притопал к вам чисто по мужскому расположению...

Тут Сын полка унюхал, что от «зятка» водочкой пахнет. Это уж у нас заведено перед серьезным разговором «на грудь принять».

— Так вот, извини-подвинься, — почти на шепот перешел Максим, — намерен я с вами по-мужски поговорить, чтоб закрыть наш семейный вопрос раз и навсегда. Маринкина позиция вам известна, менять ее она не собирается, я с ней в принципе во всем согласен, так что лучший для всех нас вариант, если вы перестанете нам напоминать о своем существовании. Живите сами по себе, а мы сами по себе, и чтобы даже никаких там записочек в дальнейшем не было. А если вы на квартиру

заритесь, то, я с юристом советовался, ничего вам не светит, все права на нее вы потеряли.

— Что квартира?! Дочку я потерял, — только и смог сказать Сын полка, а больше не проронил ни слова.

А «зятек» долго еще бубнил что-то про их с Маринкой жизненные планы, про то, что он не вертихвост какой, может, дело дойдет и до законного брака, но с этим спешить не след, потому что служба у него, извини-подвинься, опасная, могут снова в Чечню послать, а оттуда не все возвращаются. На руках у него дружок умер от раны, тоже в голову, только здесь «скорая» к вам вовремя поспела, а там в горах никаких «скорых» не предусмотрено. В общем, заключил, хоть вас Маринка ханьгой расписала, а вы вполне прилично выглядите и по характеру скромный, понятливый, и жалко, мол, даже, что придется разойтись, как в море корабли. Но, чтоб батя не держал на них обиду, Максим дарит ему полный комплект своего зимнего обмундирования, правда, извини-подвинься, б/у. Маринка прикинула, что одежда должна подойти, они одного роста, только Максим в плечах пошире, да это и понятно, у них на службе главный вид спорта — борьба, а Николай Михайлович, ему известно, боксом занимался, но боксеры, они пожиже, пощуплее фигурами. Комплект этот он в палату не стал тащить, у сестры-хозяйки оставил. А еще «зятек» посоветовал Сыну полка устроиться дворником, тем служебная жилплощадь положена, а лучше всего — сторожем, у какого-нибудь «нового русского» дачу охранять. Ну, у крупных воротил, понятно, серьезная охрана, а средней руки бизнесмен, может, и не побрезгует бывшим чемпионом области по боксу.

Прощаясь, Максим сунул ему в руку почтовый конверт. Сын полка обрадовался было, подумав, что это письмецо от дочки, но «зятек» на ухо прошептал, что там пятьсот рублей на первое время, пока не найдет работу. А уже в дверях он обернулся и хлопнул себя по лбу:

— Извини-подвинься, батя, однако просьбу вашу насчет семечек я не выполнил. Никто на Первомайской тыквенными не торгует, на рынке тоже, а подсолнухи я не стал брать, так понял, они вам не по вкусу.

Как только Максим ушел, соседи по палате, четверо мужиков, все пенсионеры, дружно принялись укорять нынешнюю молодежь за бессердечие к старшим, что вот даже для родного отца не хватило жалости, но Сын полка решительно оборвал эти причитания:

— Мы перед детьми куда виноватее, чем они перед нами.

Когда все заснули, Сын полка поплакал немножко, а потом и сам заснул.

Омоновское обмундирование, что подарил Максим, оказалось ему почти в самый раз. Куртка, правда, висела на нем, как на вешалке, да на брючном ремне дырку дополнительную понадобилось проколоть, но шапка и сапоги пришлись в пору. Когда обрядился, взглянула на него сестра-хозяйка и руками всплеснула:

— Ты, Николай, прямо, как только что призвался. Молоденький такой в этой форме.

— Как сын полка, — невесело пошутил Сын полка. Сестра-хозяйка не знала про его прозвище и от души засмеялась:

— А и точно, совсем мальчишечка.

Из больницы пошел Сын полка к Павлу Матвеичу. Низенький, скособоченный, в два окна домишко ветерана встретил его замком на дверях. Хотел к соседке постучать, чтоб узнать, где хозяин, да она сама на крыльце появилась, высмотрела, надо полагать, из окна, что человек в раздумье стоит на дороге. Соседку он сразу признал: подслеповатая, крикливая старуха частенько их матюгала, когда кто из их компании во дворе у Павла Матвеича начинал буяннить.

— Ты, служивый, к Матвеичу, что ли? — крикнула она. — Небось, из военкомата поздравление ко Дню Красной армии принес? Так, опоздал, милоч. Уж четвертый месяц, как схоронили Матвеича.

Тоскливо стало на душе у Сына полка от печального известия и не любопытства ради, а так, чтобы разговором унять эту тоску, спросил он, отчего умер Павел Матвеич.

Старуха, видно, скучала в одиночестве, захотелось ей языком помолоть, скатилась она колом с крыльца, засемила к калитке, на ходу начала свой рассказ:

— Ой, милоч, от сердечного расстройства помер наш Матвеич. Он, небось, сообщило тебе твое начальство, заслуженным ветераном был, орденов — в полгруды. На Седьмое ноября обязательно при всех наградах ходил демонстрировать на площадь Победы. И на прошлый праздник собрался. Шкап открыл — парадный костюм на месте, а орденов-медалей на нем нету. Стащил их кто-то. Матвеич-то выпивающий был, часто дом нараспашку оставлял, вор и воспользовался. Вот от такого сильного расстройства, что лишился гордости сво-

ей, и случился с Матвеичем сердечный инфаркт. А вора быстро поймали. Он на вокзале ордена пытался продать проезжающим пассажирам. Оказался пьянчужкой, которого сам Матвеич и привечал у себя. Сидит теперь, разбойник, в тюрьме. Да для него, говорят, тюрьма что дом родной.

«Серый!» — догадался Сын полка.

Старуха еще чего-то говорила, но Сын полка уже не слышал ее. Он снял шапку, постоял минуту с непокрытой головой, глядя на снежный холмик, окутавший лавочку, на которой сживали они с покойным и вели разговоры за жизнь. Потом чуть поклонился этому холмику, нахлобучил шапку и, не попрощавшись с говорливой старухой, побрел восвояси.

Заворачивая на Первомайскую, услышал он зазывный голос Зыкиной: «Огурчики соленые, капуста квашеная — весь город обойдете, дешевле не найдете!». Зыкина поначалу его тоже не признала, а когда пригляделась, глаза выпучила, запричитала:

— Господи! Да неужто Сын полка?! Живой! Надо же, живой! А мы тебя похоронили давно. Когда «скорая» приехала, доктор и пульс тебе щупал и дыхание проверял — никаких, сказал, признаков жизни. А ты, оказывается, оживел. Во медицина наша дает! Товарка-то моя, твоя зазноба, поспешила, значит, отпеть тебя. Шибко она горевала. Перед отъездом в храм ходила, свечку поставила и записочку за твой упокой подала. Спрашивала еще у меня, как правильно имя твое написать, у них-то у хохлов Николаев Миколами кличут.

— Так, выходит, уехала Надежда Прокоповна? — не удержал вздоха Сын полка.

— Уехала, уехала, — словно обрадовавшись, затараторила Зыкина. — К Покрову торопилась домой успеть. У них там, вроде, это Престольный праздник...

Ноги сами привели его на вокзал. Транзитный Владивосток — Харьков по расписанию должен был прибыть через три часа. Стаканыч, помнится, говорил, что теперь, чтоб попасть на Украину требуется иметь то ли какой-то вкладыш, то ли талон специальный. Но у него же в паспорте четко записано: украинец. А раз так, обязаны хохлы пропустить его на родину.

И Сын полка легким пружинистым шагом, как когда-то выходил на ринг, направился к кассе дальнего следования.

2000 г.

СОДЕРЖАНИЕ

БАБОЧКА	3
БУКЕТ КРАСНЫХ РОЗ	21
ДОЧКА ВЫХОДИТ ЗАМУЖ	38
НАТАША.....	55
ЛЮБОВЬ	60
НА ИСХОДЕ ЛЕТА.....	76
ЗНАЙТЕ НАШИХ	127
СМЕРТЬ СЕРЖАНТА ЛЕВОЧКИНОЙ.....	156
ОСЕННИЙ ЭТЮД	172
ЧУЖИЕ ПИСЬМА.....	182
ЛЮБЛЮ ВЕСНУ	200
СОЛЕННЫЕ СЕМЕЧКИ.....	246